ISSN 0131—0097

ОГОНЁК

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА», МОСКВА
№ 49 ДЕКАБРЬ 1989



ВИХРЬ МАЛЯВИНА

СПАСЕНИЕ ЧЕРЕЗ СЛОВО



БЕРЕГ ЛЕВЫЙ, БЕРЕГ ПРАВЫЙ

ОЧИЩЕНИЕ ИСКУССТВОМ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!





ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Основан 1 апреля 1923 года

№ 49 (3254)

2—9 ДЕКАБРЯ

НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ:
Пианист Андрей Гаврилов.
Фото Владимира Вяткина.

Оформление А. А. КОВАЛЕВА при участии О. И. КОЗАК

ПОДПИСКА НА «ОГОНЕК» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ДО ПЕРВОГО ЧИСЛА ПРЕДПОДПИСНОГО МЕСЯЦА.
Цена подписки на год — 20 руб. 76 коп., на полгода — 10 руб. 38 коп., на квартал — 5 руб. 19 коп.

УСЛОВИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРОКАТА, ПОДПИСКИ И ПРИОБРЕТЕНИЯ ВЫПУСКОВ «ОГОНЕК-ВИДЕО» ПО ТЕЛЕФОНУ 212-15-79.

Сдано в набор 13.11.89. Подписано к печати 28.11.89. А 10624. Формат 70×108⅛. Бумага для глубокой печати. Глубокая печать. Усл. печ. л. 6,3. Усл. кр.-отт. 14,35. Уч.-изд. л. 11,55. Тираж 3 300 000 экз. Заказ № 1486. Цена 40 копеек.

Адрес редакции: 101456, ГСП, Москва, Бумажный проезд, 14.

Телефоны редакции: Для справок: 212-23-27; Отделы: Публицистики — 250-46-90; Международный — 212-30-03; Литературы — 212-63-69; Искусства — 212-15-59; Морали и писем — 212-22-69; Фото — 212-20-19; Секретариат — 250-46-98; Литературных приложений — 212-22-13, 212-23-07.

Телефакс (095) 943-00-70
Телетайп 112349 «Огонек»

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

«ЗА и ПРОТИВ»

Журнал «Огонек» и Всесоюзный центр изучения общественного мнения сообщают.

Фото Валерия ИНЮТИНА и Валерия НАМЯТОВА

Степень удовлетворенности работой является важным показателем состояния экономики. Тема сегодняшнего обзора — отношение к труду.

ВОПРОС. ***Довольны ли вы в целом своей работой?***

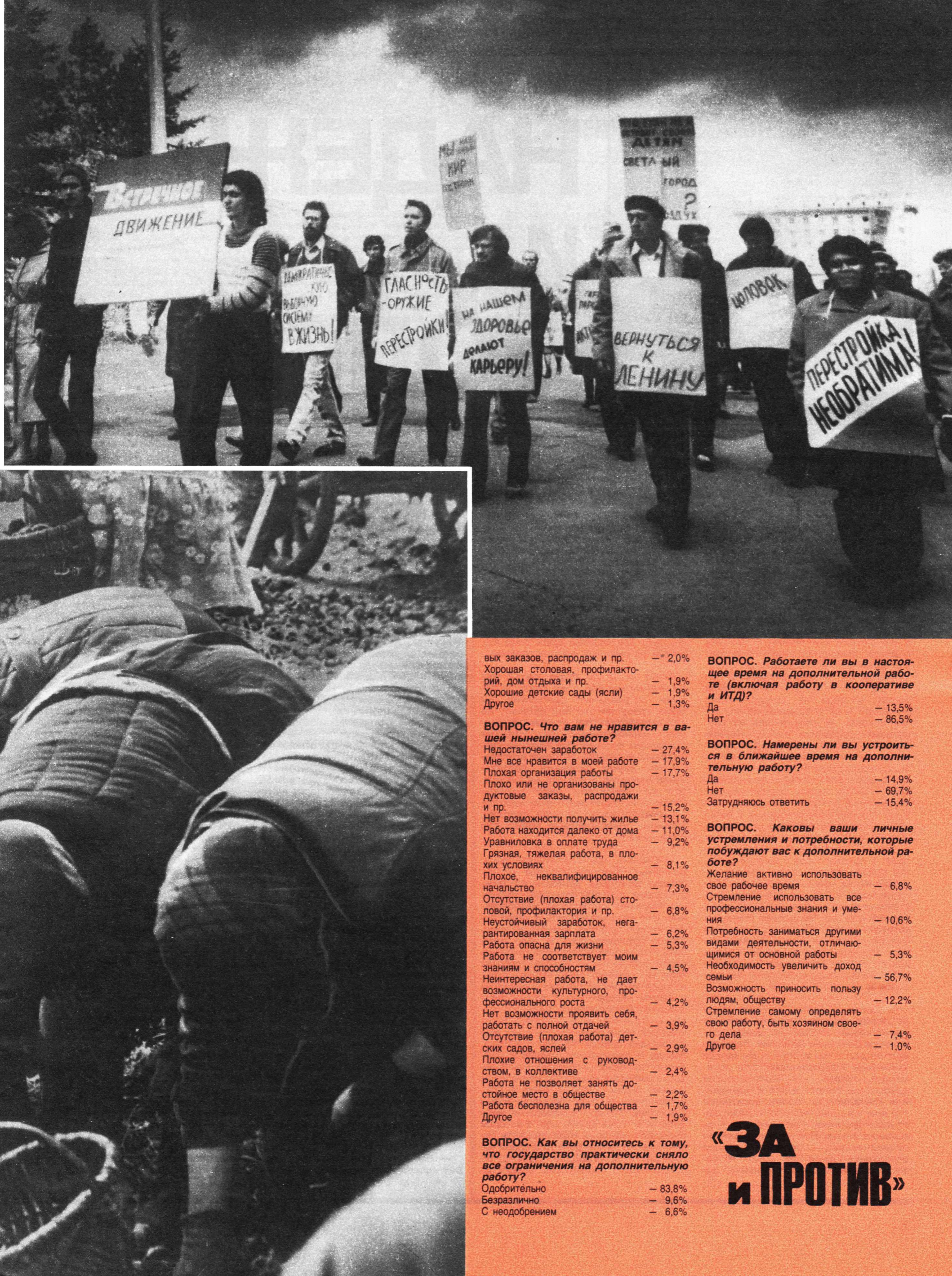
Вполне доволен	— 38,8%
Скорее доволен, чем недоволен	— 29,8%
Скорее недоволен, чем доволен	— 13,8%
Скорее недоволен	— 7,5%
Затрудняюсь ответить	— 10,1%

ВОПРОС. ***Какое из приведенных ниже суждений в наибольшей степени отвечает вашему отношению к выполняемой работе?***

Для меня работа — самое главное в жизни	— 14,9%
Для меня работа очень важна, но есть и другие, не менее важные вещи	— 53,1%
Я работаю потому, что мне за это платят	— 25,6%
Работа — неприятная необходимость, если бы я мог, то не работал бы	— 6,4%

ВОПРОС. ***Чем вас привлекает ваша теперешняя работа?***

Работа соответствует моим знаниям и способностям	— 31,2%
Привык к этому месту работы	— 20,4%
Работа важна, полезна для общества	— 19,3%
Работа находится близко от дома	— 14,8%
Хорошие отношения в коллективе	— 14,7%
Работа интересная, дает возможность культурного, профессионального роста	— 13,8%
Гарантированный заработок	— 9,7%
Работа хорошо оплачивается	— 6,7%
Работа позволяет занимать достойное место в обществе	— 6,0%
Возможность проявить себя, работать с полной отдачей	— 5,8%
Работа легкая, чистая, безопасная, в хорошем помещении	— 5,6%
Оплата труда соответствует моему трудовому вкладу	— 5,5%
Работа ничем меня не привлекает	— 5,3%
Возможность получения жилья	— 5,2%
Хорошее, квалифицированное руководство	— 2,3%
Хорошая организация работы	— 2,2%
Хорошая организация продукто-	



вых заказов, распродаж и пр. — 2,0%
Хорошая столовая, профилакторий, дом отдыха и пр. — 1,9%
Хорошие детские сады (ясли) — 1,9%
Другое — 1,3%

ВОПРОС. ***Что вам не нравится в вашей нынешней работе?***
Недостаточен заработок — 27,4%
Мне все нравится в моей работе — 17,9%
Плохая организация работы — 17,7%
Плохо или не организованы продуктовые заказы, распродажи и пр. — 15,2%
Нет возможности получить жилье — 13,1%
Работа находится далеко от дома — 11,0%
Уравниловка в оплате труда — 9,2%
Грязная, тяжелая работа, в плохих условиях — 8,1%
Плохое, неквалифицированное начальство — 7,3%
Отсутствие (плохая работа) столовой, профилактория и пр. — 6,8%
Неустойчивый заработок, негарантированная зарплата — 6,2%
Работа опасна для жизни — 5,3%
Работа не соответствует моим знаниям и способностям — 4,5%
Неинтересная работа, не дает возможности культурного, профессионального роста — 4,2%
Нет возможности проявить себя, работать с полной отдачей — 3,9%
Отсутствие (плохая работа) детских садов, яслей — 2,9%
Плохие отношения с руководством, в коллективе — 2,4%
Работа не позволяет занять достойное место в обществе — 2,2%
Работа бесполезна для общества — 1,7%
Другое — 1,9%

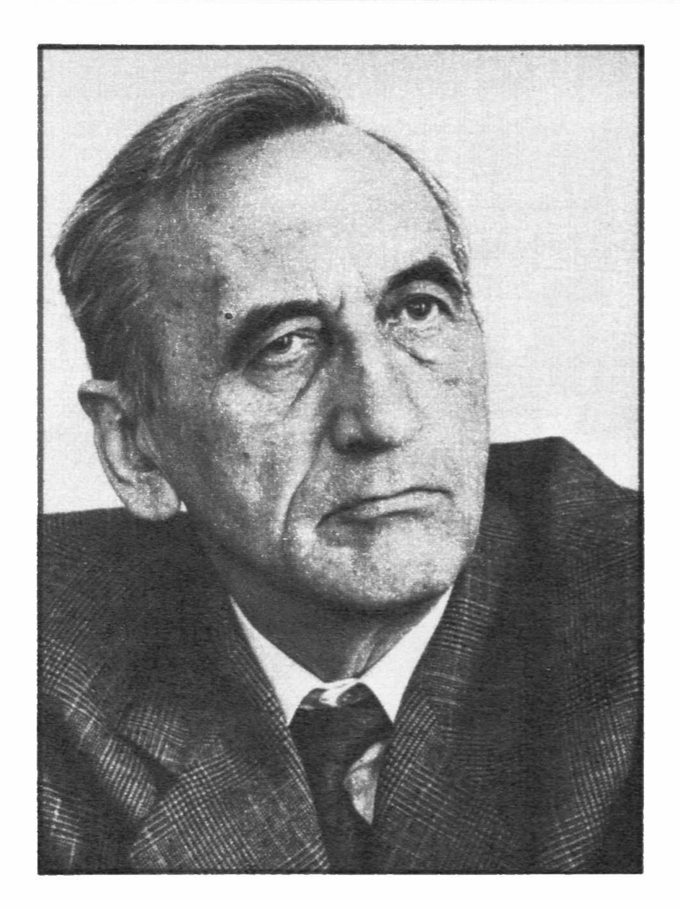
ВОПРОС. ***Как вы относитесь к тому, что государство практически сняло все ограничения на дополнительную работу?***
Одобрительно — 83,8%
Безразлично — 9,6%
С неодобрением — 6,6%

ВОПРОС. ***Работаете ли вы в настоящее время на дополнительной работе (включая работу в кооперативе и ИТД)?***
Да — 13,5%
Нет — 86,5%

ВОПРОС. ***Намерены ли вы устроиться в ближайшее время на дополнительную работу?***
Да — 14,9%
Нет — 69,7%
Затрудняюсь ответить — 15,4%

ВОПРОС. ***Каковы ваши личные устремления и потребности, которые побуждают вас к дополнительной работе?***
Желание активно использовать свое рабочее время — 6,8%
Стремление использовать все профессиональные знания и умения — 10,6%
Потребность заниматься другими видами деятельности, отличающимися от основной работы — 5,3%
Необходимость увеличить доход семьи — 56,7%
Возможность приносить пользу людям, обществу — 12,2%
Стремление самому определять свою работу, быть хозяином своего дела — 7,4%
Другое — 1,0%

«ЗА и ПРОТИВ»



НАДЕЖДЫ И ДОЛГИ

БЕСЕДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ ПОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ТАДЕУША МАЗОВЕЦКОГО С ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ ЖУРНАЛА «ОГОНЕК» В. КОРОТИЧЕМ.

— Господин Председатель Совета Министров, приходилось ли вам бывать в Советском Союзе прежде?

— Нет, это первый в моей жизни приезд сюда. Я понимаю важность момента, даю себе отчет в том, что наши страны должны жить вместе, что это политический вопрос первостепенной важности. Сейчас наше сотрудничество многообразно. Оно включает в себя и двусторонние отношения и такие многосторонние, как Варшавский пакт. Оглядываясь, следует напомнить, что в традиции польской политической мысли взгляды на сотрудничество с Россией бывали разными, но они почти никогда не проистекали из нормальных отношений между нашими странами. Многое, увы, определяли ситуации ненормальные, когда Польша не была независимой. И, борясь за свободу Польши, многие у нас в стране боролись и за то, чтобы, будучи государством независимым, свободным, Польша строила свои отношения с великим соседом, Россией, как долгосрочные. То же самое важно в отношениях с другими народами — соседями Польши. Я приехал сюда с мыслью о том, что формы нашего союза, нашего сотрудничества чрезвычайно важны. Сегодня, когда в Польше изменилась расстановка политических сил, надо снова подчеркнуть, что мы делаем ставку на сотрудничество с Россией, с Советским Союзом, и это не конъюнктурный вопрос. Это наш подход к проблеме, которая во многом определяет и будущее: работая на сегодняшний день, мы трудимся и на день грядущий.

— Таким образом, сегодня, судя по всему, вырабатываются истинно нормальные отношения между Советским Союзом и Польшей. Ведь довольно долго мы жили как бы между кризисами и праздниками. Или обнимались, твердя, что, мол, дорогие друзья, мы вместе и все в порядке; или хватались за голову, восклицая что враги в доме, что кто-то разрушает наши идиллии. Тем временем нормальная жизнь Польши, нормальная повседневность Советского Союза оставались где-то там, сбоку. И, может, особенно важно, что сейчас мы вправду искренне ощутили друг друга и то, что многие события в наших странах являются составными одного процесса...

— Мне по душе ваши слова, потому что мои ощущения аналогичны. Нам надо поскорее избавляться от ситуации «между кризисами и праздниками» или между положениями, когда мы выглядим либо как кровные враги, либо как друзья, не имеющие никаких проблем...

— Но легче ли будет жить? Вот заговорим мы обо всем сразу: о Катыни, о реальных проблемах. Не знаю, сразу ли это нас сблизит, но это выработает тип отношений ровных, равноправных, без старших и младших братьев. Две великие равноправные страны, которые возглавляются двумя лидерами, признанными народом, и все это на равных. Что же, по-вашему, надо сделать, чтобы психологически наши народы, в частности народ Польши, освоили, приняли принципиально новый тип отношений?

— Считаю, надо сделать два дела. Во-первых, очистить прошлое от неправды. Во-вторых, доказать, что между нашими странами возможны отношения подлинно партнерские, равноправные. Это надо утверждать и через политическую практику, и через экономическое сотрудничество. И надо понимать, что нельзя ждать сближения народов, покуда мы не засыпем глубоких рвов из прошлого. Надо утолить боль, которая сегодня не связана впрямую ни с вашим народом, ни с вашим сегодняшним руководством. Ведь эти вопросы отравляют наши сегодняшние отношения, ибо с обеих сторон о них еще не сказана правда. Правда о Катыни, правда о депортациях, правда о миллионах погибших. Оглашение этой правды не уменьшит нашего уважения к тем вашим людям, которые пали в бою, устремляясь в годы прошлой войны к Берлину. Это другое измерение, иное дело. И в то же время, ров, о котором я сказал и который надо засыпать, существует на самом деле благодаря неправдам и полуправдам. Необходимо устранить это препятствие, вырабатывая суверенное партнерство. Наше сотрудничество должно опираться на все более широкие круги общества, тогда люди и ощутят равноправие массово. Ведь и сегодня многие видят изменения, но это будто «не их». Обретая широкую общественную базу, все это станет «их».

— Что же надо сделать для этого? Может быть, пресса должна делать больше, а возможно, политики-профессионалы. Что, по-вашему, надо сделать для подлинной нормализации отношений между нашими обществами и странами?

— Думаю, что на первом этапе надо сокрушать барьеры, стоящие на пути к правде об истории наших отношений, и начать вырабатывать новый стиль их. Думаю, что упомянутая трансформация происходит уже в ходе этого визита. Наше сотрудничество переходит на государственный уровень, причем в него заложены и связи между коммунистическими партиями обеих стран. Межпартийные отношения уже не могут заменить собой межгосударственные, независимо от того, кто пребывает у власти. Подлинно равноправные отношения возможны лишь на межгосударственном уровне...

— Но межгосударственные отношения не абстракция, они тоже только часть ситуации. Огромное значение имеют личности, возглавляющие государства. Как вы восприняли советских руководителей? Интересны ли были вам люди, столь отличающиеся от тех, кто руководил нами лет десять назад?

— По-моему, я встречался с людьми высочайшего уровня, пользующимися совершенно современной системой критериев. В моей жизни это было не только очень важным, но и очень интересным событием. Встречаться с людьми такого уровня попросту интересно; они непосредственны, ведут себя по-товарищески. Мне кажется, это совершенно иные люди.

— Вы тоже, судя по всему, человек совершенно иной, новый. И времена сейчас новые: административный, бюрократический, зовите его как угодно, «социализм» погибает. Процесс этот, по-моему, всеобъемлющ и имеет исторически закономерный характер. Возможно, началось в Венгрии, охватывало Польшу, мою страну, Болгарию, ГДР, Чехословакию. Ситуация вокруг нас обновляется. Этот исторический процесс важен, незауряден и во многих отношениях непрост. Мне трудно разделять в главном процессы, идущие у нас в стране, от того, что происходит с Польшей, с другими странами. Мы учимся воспринимать поновому не только свое сообщество, но и то, что Европа вправду становится общим домом. Впрочем, для меня сейчас куда важнее ваше мнение, ваше ощущение. Чувствуете ли вы общность стоящих перед нами проблем?

— Считаю, что все должно получиться и у вас, и у нас. Если вы не добьетесь успеха, и нас ждет неудача: но — не получится у нас, и вам не удастся. Здесь очень тесная зависимость, и я ощутил понимание ее в беседах, которые вел в вашей стране. Конечно же, и пути наши во многом различны, и разные скорости продвижения по этим путям. Способы решения проблем бывают различны, но генеральные линии явно взаимозависимы.

— Мы понимаем всю важность для себя надежды, что все в Польше удастся. Мы ведь доказываем, что в рамках нашей системы, нашего сообщества можно меняться к лучшему, и с огромным интересом изучаем изменения, происходящие в вашем доме.

— У нас такой же интерес к тому, что у вас происходит. Необыкновенно интересно и важно отыскать пути, на которых проблемы, стоящие перед вами, будут решаться эволюционно, мирно...

— Других путей мы и не обсуждаем. Страшно подумать о других. Но, нормально развиваясь, мы составляем для себя нечто вроде оче-

редности проблем. Какая же у вас самая главная, первейшая сегодня?

— Честно говоря, главнейших, первейших проблем у нас немало и даже не знаю, которая из них самая первая. Пожалуй, есть зависимость достижений в решении хозяйственных и политических задач. Если бы я сказал, что вот, мол, решим хозяйственные задачи и займемся политикой, это было бы ошибкой. И напротив: если допустить, что прежде всего политические задачи, а затем уже экономика — это было бы тоже ошибкой. Тем не менее я, как Председатель Совета Министров, нахожусь под постоянным давлением со стороны проблем экономических, забот, связанных с уровнем жизни в стране, инфляцией, ростом цен и так далее. Хотелось бы в первую очередь решить эти проблемы, не забывая при этом и о преобразованиях государственных...

— И у нас обе перестройки: духовная, идеологическая с экономической — сплелись воедино. Есть еще одна проблема, по-моему, не чуждая ни нам, ни вам: это связь между борьбой за свободу и умением воспользоваться результатами этой борьбы. Здесь тоже вступает в дело уровень политического сознания общества, политического реализма. Люди ведь хотят чуда, требуют всего немедленно. Избрав парламент в мае этого года, люди уже сегодня предъявляют претензии депутатам по поводу того, что колбасы в магазинах все еще нет...

— У нас много общего и в этом. Первые фразы, которыми мы обменялись в автомобиле с Председателем Совета Министров СССР Н. И. Рыжковым по пути из аэропорта, были, собственно говоря, об этом. Я сказал о нетерпении, а он сказал, что хорошо меня понимает, ибо в Советском Союзе многие хотят, чтобы результаты были достигнуты еще вчера. Это проблема, и немалая. Но я привязан к одному понятию, а точнее, к ценности, стоящей за этим понятием. Речь идет о политической культуре. Скажу немного об этом в связи с польско-советскими отношениями. Понимаете, при переходе от тоталитарных к демократическим отношениям существуют различные движения, волнения, среди них даже экстремистские, неконтролируемые ситуации. И в то же время пример польских решений показывает, как важно, чтобы основная масса общества существовала на определенном уровне политической культуры. При этом я подразумеваю не только определенную технику общественной жизни. Имею в виду и определенную систему ценностей в ней. Напомню о миролюбии, эволюционности, культуре, способности ощутить партнера, даже противника.

Кстати, когда новый руководитель ГДР Эгон Кренц недавно приезжал в Польшу, я сказал ему: «Надо различать два понятия — врага и оппозиционера. Пока этого различия не существует, нет и речи о движении вперед». Чрезвычайно важна реализация этого положения в повседневном поведении, заурядных поступках, в умении понять аргументы тех, кто занимает иную позицию, умении принять ее во внимание. Воспитание такой культуры мышления и поведения чрезвычайно важно.

Возвращаясь же к польско-советским отношениям, я сошлюсь на мысль де Голля, где-то им высказанную или записанную в дневниках: «Географию изменить нельзя, а геополитику можно». Возьмем ту же Францию. У нее бывали конфликты с тремя соседними странами: Германией, Англией и Испанией. Но современный процесс развития привел к тому, что эти общества сегодня открыты по отношению друг к другу. Почему же мы в Центральной и Восточной Европе не можем как следует друг другу открыться? Возьмем Польшу. На юге у нас Чехословакия: конфликтов с ней было немного, но отношения складывались не лучшим образом. Они нас считали этакими романтиками, не приспособленными к реальным расчетам, а мы тоже норовили поглядывать на них сверху вниз. Мы обязаны это преодолеть. Германия. Очень многое между нами. Но ведь были и периоды нормального сотрудничества, взаимовлияний; и здесь все обязано измениться к лучшему. Наконец — восток. Русские. Украинцы. Литва. Белорусы. Процесс единения и открытости с этими народами еще впереди. Мы ведь с вами ближе всего, и исторические связи крепки. Нам очень надо развивать отношения с огромными страной и народом России. Чтобы мы не были ограничены рассуждениями о встречах Мицкевича с Пушкиным, надо развивать общение народа с народом, тем более что наши народы во многом определяют ситуацию в этом мировом регионе. И если наше единение не углубится к лучшему, мы не изменим геополитической ситуации в лучшую сторону.

— Ощущаете ли вы на своем столе неоплаченные счета, оставшиеся от прошлых правительств, и собираетесь платить по ним? Впрочем, и руководители нашей страны сегодня расплачиваются по многим старым счетам. Времена и проблемы соединяются. Многие узлы, завязанные не сегодня, придется распутывать именно вам...

— Если бы я думал, что развяжу все эти узлы, я бы сошел с ума. Я мыслю реалистически и надеюсь, что поспособствую продвижению вперед. Будем реалистами...

— Ну что же, от миллионов наших читателей хочу пожелать, чтобы реальная Польша с реальным премьером обрела реальное счастье!..

— Спасибо. Хорошо заканчивать разговор на такой ноте.

— На ноте надежды, которая обязана осуществиться...

●



ГОЛОСУЕМ ДВУМЯ РУКАМИ ●
КОМУ ПРОПОВЕДОВАТЬ С ЭКРАНА ●

■

Несколько раз в печати упоминалось о том, что все беды с голосованием и подсчетом голосов на съездах и сессиях решатся с оборудованием зала компьютерами.

Как раз этого на сессии не произошло. Хочу поблагодарить операторов телевидения. Они в какой-то степени помогли разобраться в том, кто есть кто. Внимательно всмотритесь в видеозапись и увидите, что иногда происходят любопытные, но не совсем честные фокусы с голосованием. За свои слова могу ответить перед любой комиссией. В начале работы сессии я как-то не придавал значения этому. Но, когда обсуждался вопрос о собственности 17 октября, я не мог сдержать негодования. Один из делегатов (в свидетели могу взять только видеозапись) во время голосования левой рукой нажал свою кнопку, а правой — кнопку отсутствующего. Сосед толкнул его локтем и указал на направленную на них телекамеру. Воровато оглянувшись, он сделал вид, что ничего не произошло. А когда голосовали за внесение изменений и дополнений в Закон «О кооперации в СССР», тот же фокус с той же кнопкой выполнил правый сосед.

18 октября женщина из первого ряда умудрилась подать голос и за правое, и за левое пустующие кресла.

Стоит теперь подумать, почему половина депутатов как огня боится поименного голосования.

В. ФИЛИППОВ,
инженер
г. Смоленск

■

21 ноября на сессии Верховного Совета СССР наконец-то было замолвлено слово и о главной библиотеке страны. До этого проблемы, связанные с ее реконструкцией, решались в кулуарах. Тем не менее положение по-прежнему остается тревожным. Реконструкция, безусловно, необходима, Ленинка находится в критическом состоянии: постоянные аварии, нехватка площадей, допотопная техника, губящая книги и здоровье людей пыль... Однако закрытие ГБЛ на четыре года — цена непомерная. Это нанесет огромный ущерб развитию науки и культуры, поставит под угрозу само существование библиотеки как живого организма.

Неудачен сам проект реконструкции, который Министерство культуры и администрация ГБЛ собираются взять за основу и заплатить за ее реализацию иностранному подрядчику 98 миллионов инвалютных рублей. Нельзя разъединять реконструкцию комплекса старых зданий и строительство нового корпуса. Вопреки здравому смыслу и общепринятой в мире практике его планируют возвести после завершения всех ремонтных работ. В результате библиотека, даже обновленная, еще надолго останется на тех же площадях, на которых она задыхается давно. Несмотря на заверения Министерства культуры, нынешний проект повлечет за собой свертывание работы библиотеки. Число читательских мест будет сокращено на 75—80 процентов. Актовый зал ГБЛ и 5-й павильон в Сокольниках, где предполагается развернуть временные читальные залы, не оборудованы и вряд ли могут быть оборудованы необходимыми инженерными коммуникациями, так что даже те книги, что будут доступны читателю, придется носить на руках. Залы окажутся оторванными от каталогов и справочных изданий, от копировальных машин. Огромная масса книг будет на несколько лет изъята из оборота, а что-то — просто расхищено при бесконечных перевозках, наконец, «заставлено» и тем самым потеряно навсегда.

Для того чтобы библиотека продолжала работать более или менее нормально, на время реконструкции ей надо предоставить здания, находящиеся в непосредственном ее окружении. Прежде всего Манеж, музеи имени Калинина, Щусева. Некоторые из них можно использовать под службы, другие после тщательного оборудования — для принятия книг, микрофильмов и рукописей.

Предлагаю приостановить дальнейшее продвижение мертворожденного проекта, выбранного якобы на конкурсной основе. Конкурс был формальным, негласным, что не обеспечило поступления более продуманных и красивых решений проблемы.

Необходимо объявить открытый международный конкурс на лучший проект реконструкции ГБЛ. Целесообразно было бы учредить фонд ГБЛ. Думаю, что и в СССР, и за рубежом найдется немало людей, которые не откажут библиотеке в пожертвованиях. Ведь она представляет собой достояние не только всех народов нашей страны, но и планеты в целом. Кстати, ГБЛ и сама могла бы успешно зарабатывать деньги, как рубли, так и валюту, продавая копии своих книг и газет, факсимильные издания и т. д. Для этого ей необходимо немногое: освобождение коммерческой деятельности от налогов и свой валютный счет.

И. ФИЛИППОВ,
старший научный сотрудник ИМЭМО АН СССР,
член совета Ассоциации молодых историков

■

Я хочу поделиться с вами тревогой, которая появляется у меня всякий раз, когда слышу или читаю об углублении внутрихозяйственной аренды, установлении арендных взаимоотношений между администрацией предприятия и его подразделениями. Это звучит красиво, в духе времени, но я плохо представляю себе, как, скажем, моя левая нога заключает со мной договор, получает относительную свободу и идет, куда хочет, после выполнения планового количества шагов. В конце концов это просто невозможно. Но разговоры, инструкции, рекомендации на эту тему привели к тому, что коллективы дробятся, теряется ощущение единства предприятия, трудового коллектива как цельного организма.

Наш металлургический завод предназначен для выпуска проката из высококачественных сталей и стальных фасонных профилей высокой точности. На «простом» прока-

те мы терпим убытки и тем не менее вынуждены наращивать производство арматуры из-за дикой обстановки в снабжении. Мы хотим строить больше жилья — все стройматериалы идут в обмен только на арматуру и другой рядовой прокат.

Обратите внимание, мы (администрация и СТК завода) вынуждены стимулировать наращивание выпуска убыточной продукции арендным коллективом. Если такое положение, возникшее в результате робких попыток создания рынка в условиях супермонополизации и повального дефицита, сохранится, один выход — снизить заработную плату всем без исключения работникам завода либо прекратить строить жилье. По сравнению с прошлым годом за 8 месяцев текущего мы потеряли из-за увеличения выпуска рядового проката около 200 тысяч рублей дохода, выплатив за это дополнительно около 30 тысяч рублей.

Но если бы только стройматериалы. Все, что переведено на свободную торговлю, очень трудно купить за «нормальные» деньги. Либо обмен, либо договорная цена. Зачем я об этом? Да потому, что, сетуя на смежников, на шараханье в законах и положениях на уровне правительства, реальное недовольство обрушивается на «белые дома» предприятий. Крайний всегда бюрократ, а значит, его надо если не уничтожить, то хотя бы переизбрать,— закон позволяет.

Я экономист, следовательно, принадлежу к 18-миллионному клану бюрократов, и, может быть, поэтому против демократии на производстве в том виде, в каком она есть сегодня. Забыли, что демократия — это беспрекословное соблюдение законов, принятых демократическим путем (примерно так определил ее Вольтер). Демократию на производстве сейчас понимают так: каждый может порулить независимо от того, умеет он это или нет. Слава Богу, что мы не в автобусе едем...

Как быть в таких условиях, когда каждое арендное подразделение невольно тянет одеяло на себя? Может повременить немного с внутрихозяйственной арендой? Вместе отбиваться и выживать легче.

Е. МАСЛЕННИКОВ,
г. Омутнинск, Кировская область

■

Удивляемся мужеству создателей передачи «Воскресная нравственная проповедь», выпустившим на телеэкран 29.10.89 г. писателя Ю. Бондарева, который, надо признать, говорил с большим старанием, и очень уж ему хотелось блеснуть умом и эрудицией... Оттого проповедь и не получилась.

Уважаемые создатели этой передачи!

Если вы и в дальнейшем собираетесь отдавать трибуну писателям, то назовите передачу по-другому. Не надо забирать открытую церковью уникальную форму и эту форму наполнять первым попавшимся содержанием.

Считаем, что кафедра «Воскресной нравственной проповеди» должна быть отдана исключительно служителям церкви, которые, как показал отец Питирим, еще не разучились сами читать проповеди. Это будет честно и по отношению к церкви, и по отношению к телезрителям, а главное, по отношению к проповедуемым гласности и плюрализму.

Семья ПОПОВЫХ,
члены КПСС
г. Новгород

■

Октябрь 1989 года. Сессия Верховного Совета СССР горячо обсуждает всевозможные вопросы, затрагивающие проблемы выезда и въезда в СССР. «Боже мой! — наивно подумал я.— Неужели я смогу теперь свободно, минуя сотни бюрократических препон, ездить на каникулы к своим друзьям!»

Но прошла всего неделя, и Госбанк СССР объявляет о введении нового, пониженного курса рубля для ведения неторговых операций, то есть для нас с вами. Но что это? Трудно было поверить своим, привыкшим уже ко всему глазам простого советского человека! Государственное учреждение хуже самого последнего фарцовщика и рэкетира начинает вымогать у людей деньги и спекулировать валютой! Да-да! Я подумал именно так! Ведь, будучи студентом, изучающим несколько иную специальность, я не способен разобраться в тонкостях экономики и понять, что все это сделано исключительно «для нашего блага».

Ну, а кто же теперь сможет поехать? Ведь одна недельная поездка к родственникам или друзьям, учитывая грабительский, непонятно откуда взявшийся налог за получение визы, произвол транспортного отдела Госкоминтуриста СССР в отношении железнодорожных билетов, ну а теперь еще к тому же и заботы «доброго радетеля нашего» Госбанка СССР, обойдется, ни много ни мало, около трех тысяч рублей! Ну и кому же это «право» по карману? Колхознику, вкалывающему с утра до ночи за гроши? Пенсионеру с его «прожиточным минимумом»? Студенту, получающему месячную подачку от государства? Рабочему с его зарплатой, равной в пересчете на новый курс 35 долларам? А может быть, инженеру с его жалким пособием, которое даже зарплатой и назывть-то стыдно?! Конечно же, нет!!! Поедут лишь те, у кого есть такие деньги: воры, фарцовщики, спекулянты...

И все-таки я, может быть, что-нибудь не понимаю, а вместе со мной несколько миллионов моих сограждан? Тогда пусть экономисты объяснят ясно и просто, без словесного тумана. И я раз и навсегда оставлю свои глупые затеи.

Ю. ГИЛЬБО,
студент консерватории

■

Почему я должна сдавать государству биологически чистый картофель, выращенный без удобрений, в том числе нитратных, по цене 13 копеек за 1 килограмм, то есть почти по себестоимости? Кстати, отмечу, что семена, купленные мною у совхоза (я взяла землю в аренду только весной этого года), были мне проданы по 30 копеек за 1 килограмм.

Главленплодоовощпром разрешил в городе приобретать картофель по договорным ценам только трем магазинам. Я обратилась туда, ответ был категорическим: не берем. Зачем магазину проявлять заботу о потребителе, когда он выполняет план по нитратной продукции?

Кроме картофеля, я вырастила кроликов. Заготконтора берет их живьем по 2 рубля 40 копеек за 1 килограмм. Выходит, каждый кролик стоит 6—7 рублей вместе со шкуркой. На рынке крольчатину продают за 5 рублей 1 килограмм. Разумеется, сюда не входит стоимость шкурки. Я предложила тушки магазину «Кооператор» в Гатчине. Полки его были абсолютно пусты, и тем не менее директрисе захотелось получить моих кролей только через заготконтору за смехотворную цену. Кому выгодно это надувательство?

Арендатор в нашей стране — изгой. Мы полностью зависим от директора совхоза: даст или не даст землю, технику. В пасынках мы также у банка. Он выдает краткосрочную ссуду только на приобретение семян, под гарантию совхоза. А на что должен жить арендатор до реализации будущего урожая? Долгосрочную ссуду на приобретение техники банк практически не отпускает либо предлагает в таком мизерном количестве, что впору купить велосипед... Кто после таких мытарств решится стать арендатором?

Е. МАЛЕНКОВА,
Ленинград

■

Разделяю проблемы и боль автора статьи «Страсти по Красному Храму» Александра Нежного о том, как верующие города Иванова голодовкой вымаливали свою святыню. Написано умно и своевременно. Поймут ли ее облаченные властью начальники?

Решение вопроса, поднимаемого статьей, вижу в том, чтобы исключить из Устава КПСС, из раздела «Члены партии, их обязанности и права» тезис: «вести решительную борьбу с... религиозными предрассудками...» На мой взгляд, одна, и к тому же правящая, партия в условиях перестройки должна быть нейтральной по отношению и к атеистам, и к верующим.

Результаты решительной борьбы с религией в течение предшествующих лет известны не только нам, но и всему миру. До сих пор это один из козырей очернения социализма Западом. Порушив тысячи храмов, введя государственный атеизм, добились ли мы благородных целей? Бездуховность, разобщенность, бесчеловечный прагматизм, неверие ни во что — не это ли наши ценности сегодня?

Поэтому считаю, что нейтральность партии к свободе совести будет соответствовать нашей Конституции, исключит двойную мораль и позволит завоевать доверие значительно большей части народа.

Н. ГОРОХОВ,
инженер
г. Тольятти

■

Фонд молодежной инициативы при Балашихинском ГК ВЛКСМ (Московская область) в начале ноября 1989 года, несмотря на большие трудности, сумел восстановить и открыть для посетителей Балашихинскую картинную галерею. Мы говорим об этом потому, что в процессе работы над первой выставкой смогли понять и почувствовать проблемы, стоящие перед художниками и их менеджерами. Тем большее впечатление произвел на нас материал, опубликованный в «Огоньке» № 42, рассказывающий о художниках Ольге и Ирине Сергеевых, инвалидах с детства. Материал невеселый, но мы уверены, что ситуация небезнадежна. Фонд берет на себя все расходы и организацию выставки-продажи их прекрасных работ. На вырученные средства мы хотим приобрести для них необходимое медицинское оборудование, пригласить специалистов для лечения. Нам очень хотелось бы, чтобы Ольга и Ирина были счастливы, чтобы их пример пробудил у других молодых людей веру в свои силы. Мы готовы пойти на контакт со всеми, кто поддерживает наше предложение. Телефон ФМИ при Балашихинском ГК ВЛКСМ: 521-46-54.

Директор ФМИ Марк ЕФИМОВ,
исполнительный директор
Центра искусств «Галерея»
Максим ТКАЧЕВСКИЙ,
г. Балашиха

«ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ЗНАКОМСТВО» СОСТОИТСЯ

Начался тираж «Огонька»-видео» № 6

«В прошлом номере «Огонек» опубликовал сердитую телеграмму главного редактора журнала Виталия Коротича руководству Центрального телевидения, в которой он отказывается от показа «Телевизионного знакомства» со своим участием. Понять Коротича можно, это действительно издевательство над зрителями — несколько раз анонсировать «Телевизионное знакомство», потом без объяснений снимать передачу с эфира. Чего боялось телевизионное начальство — популярности главного редактора, мыслей Виталия Коротича, позиции народного депутата? Но все же, что делать нам, простым телезрителям? Раньше у нас хотя бы в будущем была надежда увидеть передачу, а после телеграммы и она испарилась. А. Демченко, Москва».

Наш читатель поторопился с грустными выводами. Мы с удовольствием сообщаем всем тем, кто ждал передачу, что встреча с Виталием Коротичем и ведущим Урмасом Оттом в «Телевизионном знакомстве» все же состоится. Еще год назад при монополизме телевидения такое было невозможно. Но теперь у «Огонька» появилось видеоприложение, это еще одно завоевание журнала и гласности. После успешных переговоров с эстонским телевидением «Огонек» приобрел авторские права на передачу.

В ближайшее время все наши видеоподписчики получат 6-й видеовыпуск журнала «Огонек» с программой «Телевизионное знакомство» и встретятся с Виталием Коротичем. И заодно он ответит на вопрос, почему, на его взгляд, Центральное телевидение отказалось показывать передачу в эфире.

Для видео- и кинопрокатных организаций, профсоюзных, хозрасчетных, молодежных клубов, кооперативов, для всех, кто не успел еще познакомиться с нашими кассетами, напоминаем: по вопросам приобретения и подписки на видеовыпуски журнала «Огонек» следует обращаться по адресу: 117313, Москва, аб. ящик 843, тел. 212-15-79.







Дмитрий БИРЮКОВ

ЧУВСТВО ОТВОЕВАННОЙ СВОБОДЫ

ЛУЧШИМ ПИАНИСТОМ 1989 ГОДА БЫЛ ПРИЗНАН 33-ЛЕТНИЙ СОВЕТСКИЙ МУЗЫКАНТ АНДРЕЙ ГАВРИЛОВ. ТАКОЕ РЕШЕНИЕ ВЫНЕСЛА ИТАЛЬЯНСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ В ГОРОДЕ СИЕНА.

— Я пытался подготовиться к разговору с вами. Но ничего не получилось. Ваша жизнь как-то не укладывается в привычные рамки. Вот, например, в 1985 году английские газеты написали, что вы попросили политическое убежище в Англии. Однако я вас встречаю в Москве. Вернее, под Москвой. Кстати, это ваша дача?

— Нет, я здесь живу.

После того как разъяренный сосед топором расколотил мою дверь, пригрозив расправиться, если я хоть раз дотронусь до рояля, я построил этот дом.

— Если вы не перебежчик, тогда мне непонятно, почему, когда вы были признаны лучшим пианистом 1989 года, об этом робко, в маленькой колоночке сообщил только журнал «Новое время». Достижения советской культуры обычно подаются с размахом. Слушайте, Андрей, а это правда, что вы женились на англичанке и уехали в Англию?

— Нет, не правда.

— А вообще кто вы?

— Я советский гражданин. Просто я живу свободно. Работаю. Даю концерты, выступаю во всех странах мира, сам организую свои гастроли. Кстати, могу вам честно сказать, что с советским гражданством довольно трудно путешествовать по миру.

— Тогда, извините за прямоту, что же вас удерживает?

— Во-первых, здесь мой дом, который я люблю, дом, который я построил своими руками. Во-вторых, здесь живут мои родные, родные моей жены. В-третьих, здесь говорят на моем языке и живут люди, с которыми я очень многим связан. Не знаю, может быть, это прозвучит банально, но я патриот и мне хочется быть вместе со страной, особенно сейчас, когда появилась надежда. Несмотря на то, что в Советском Союзе я перенес очень много. Ну и, наконец, я даже сам еще не ответил для себя, чем дорога мне эта страна.

— А вы действительно считаете, что появилась надежда?

— Конечно. Правда, то, что сейчас у нас происходит, очень трагично и очень печально. Впрочем, это естественно. Признавать то, что десятилетиями мы шли к тупику, очень трудно.

— Если бы мне сейчас было 60 лет, я бы с вами не согласился. Как это можно — взять вдруг и отказаться от своей жизни, от своих убеждений. Да и сейчас, когда мне 32, это сделать непросто. Я не видел своего прадеда, который организовывал первые большевистские ячейки в Иванове, но зато я хорошо помню моих дедов. Нет, они не занимали высоких должностей да и жили даже по тогдашним меркам трудно, но они верили в идеалы и до конца своей жизни старались сделать их реальностью. Как же можно вот так взять и отречься, сказать, что шли к тупику.

— Вы знаете, это чисто по-русски — задавать себе вопрос: как я прожил жизнь? — в конце жизни. Нужно, чтобы каждый день все жители нашего государства спрашивали себя: как я прожил день? Что я сделал полезного в течение этого дня и как это отразится на следующем? И если на завтрашний или на послезавтрашний день они не почувствуют пользы от прожитых дней, значит, нужно срочно менять позицию. с которой они действовали и существовали. В этом заключается развитие человека. Если же человек живет во сне 70 лет, а потом у него наступает прозрение, он может просто сойти с ума.

— А если человек прозрел не в конце жизни, но, прозрев, прекрасно понимает, что ничего нельзя изменить, тогда как?

— Именно поэтому нам надо менять устройство нашей жизни.

— И что вы предлагаете менять?

— Да все. От А до Я. Знаете, я начал чувствовать фальшь нашего положения очень рано, еще в дошкольной группе.

— Извините, а кто были ваши родители?

— Мой отец — художник, его картины висят в Третьяковской галерее. Умер рано, в возрасте 47 лет, был чрезвычайно свободолюбив, никак не мог подчиниться системе. Правда, он не шел на открытые конфликты, а уезжал куда-то далеко на пейзажи, на месяц, на полгода, на годы. Мы его почти не видели. Моя мама — пианистка — училась у Нейгауза. Но ее концертной деятельности помешал туберкулез. И, может быть, поэтому она решила во что бы то ни стало передать мастерство своим детям. Сначала она занималась с моим старшим братом. Потом переключилась на меня. Произошло это после одного полумистического случая, когда я в возрасте 3 лет подошел к роялю и сыграл то, что разучивал мой брат. С тех пор мама стала меня учить, и надо сказать, что я очень быстро продвигался. В пять лет я прилично играл и даже поступил в подготовительную группу музыкальной школы.

Жили мы тогда трудно. Когда приезжали мои дедушка и бабушка, наша квартира уплотнялась настолько, что моя раскладушка переезжала под рояль. Так что я провел под роялем большую часть своего детства и общался с ним и днем и ночью. Потом я поступил в Центральную музыкальную школу. В ней не было такой бешеной атаки идеологии, которой подвергаются дети в обычных школах. Недавно я просматривал учебник по литературе нашего сына-третьеклассника и поразился мощному заряду агрессии буквально с первых страниц. Легендарный Щорс швыряет гранату в пьяную рожу белогвардейца. Стихи о советском гербе, где говорится, что наш герб самый лучший, а все остальные отвратительные, потому что на них нарисованы хищные птицы с когтями и клювами. Вот вам пример агрессивной пропаганды, которая впитывается детьми бессознательно с самого раннего возраста... Я почувствовал фальшь в школе, когда мы разделились на звездочки и наши звеньевые вдруг заговорили какими-то отчужденными голосами.

К шести годам я уже хорошо знал, что убить человека — страшное преступление, что ударить человека нельзя, что обижать человека плохо, что врать нехорошо. Это были те истины, которые неожиданно стали входить в противоречие с тем, что происходило в школе. Более того, они оттеснялись на второй план под воздействием новых установок, когда нас начали накачивать советской мифологией. Мы влюблялись в Ленина, читали стихи и смотрели кинофильмы. Помню, как я плакал, когда сестра Ленина в одном из кинофильмов играла «Осеннюю песню». Эта любовь и многие другие вещи подавляли простые и ясные ориентиры о добре и зле. Ориентиры сместились еще больше, когда мы подошли к теории о двух мирах. Один — хороший, в котором живем мы, и второй — где все неправильно и отвратительно. Мы учились ненавидеть второй мир. Когда учат ненавидеть человека — это подозрительно, когда же заставляют ненавидеть целый мир, это подозрительно вдвойне. Когда стал октябренком, то был счастлив, в пионерах у меня энтузиазма значительно поубавилось, а вот в комсомол я уже не вступил.

— Своего рода протест?

— Нет. Когда наш класс организованно вступал в ВЛКСМ, у меня скончался отец и мне было совершенно не до комсомола, я и в школу не ходил. Позже я даже был рад, что так произошло. К тому времени наметилось очень четкое разделение учеников. Неудавшиеся профессионалы, которые явно отставали по специальности, стали самыми активными комсомольцами. Они все больше и больше уходили в комсомольскую деятельность, а мы, в свою очередь, постепенно попадали от них в зависимость. Именно это обстоятельство вызывало у них удовлетворение. Особенно это чувствовалось, когда они с угрозой в голосе настаивали на том, чтобы мы пришли на собрание. А ведь для нас каждый час (в 14 лет мы уже профессионалы) потерянного времени был ощутим, и приходилось ночами наверстывать упущенное. Поразительно, но факт. Почти все, кто проявил себя на комсомольском поприще, сегодня стали министерскими работниками. Если бы не их активность, то думаю, им бы и в консерваторию не попасть. Но они проходили с низкими отметками, очень часто меняя профессию. Неудавшиеся пианисты становились теоретиками, баянисты становились дирижерами. Смена профиля их не волновала, потому что они твердо шли по комсомольской линии, на практике познавая все возможные привилегии такого пути. Естественно, была зависть к тем, кто профессионально состоялся. Сыграешь, бывало, на зачете хорошо, а на ближайшем комсомольском собрании получаешь разнос за опоздание на субботник.

— Но вы ведь не были членом ВЛКСМ?

— В нашем классе я один не был комсомольцем. Но несмотря на это, я подчинялся политическому руководству. Вместе со всеми сдавал взносы на какие-то мероприятия, принимал участие в экскурсиях. Короче, участвовал в общественной жизни, даже если это шло в ущерб моей работе. К тому времени я уже познакомился с творчеством Солженицына и немногими другими произведениями самиздата, которые удавалось достать. Мне было очень интересно, а что все же существует по ту сторону, о чем говорят «плохие» люди. Так что в 15 лет я уже прилично знал точку зрения оппонентов, и она мне больше импонировала, потому что была понятней. В ней не было фальши. Все было построено на таких понятиях, как добро и зло. Люди говорили то, что они думают. Это было гораздо понятней, чем наша пропаганда.

По традиции после одиннадцатого класса в ЦМШ всегда готовится капустник. Готовились к нему и мы. Я написал сценарий, которым был чрезвычайно доволен. Он получился критический, заостренный. Во-первых, там критико-

вались порядки, сложившиеся в ЦМШ. Он был направлен против педагогов, подавлявших любое проявление индивидуальности. Как правило, это были преподаватели общеобразовательных предметов, которые, наверное, не понимали специфику своих учеников. Во-вторых, в капустнике мы затронули несправедливость, царствовавшую в школе-интернате при ЦМШ, где жили все иногородние. Там процветали ужасные порядки. У ребят воровали еду, а кормили так, что они приходили на занятия полуголодными. Если бы вы видели, как они набрасывались на бутерброды, которые мы тащили из дому и по-братски делили у себя в классе.

Когда капустник начался, зал разделился на две части. Молодые педагоги сочувствовали нам, но боялись смеяться. Директор школы вышел из зала и перед тем, как хлопнуть дверью, потребовал: «Прекратить это безобразие». Капустник мы доиграли до конца, а через два часа кто-то донес, что сценарий писал я с моим товарищем. После капустника состоялась торжественная церемония вручения характеристик, которые были розданы всем, кроме меня и моего товарища. Мы получили документы с опозданием на сутки, сразу же стало ясно, что ни о каком высшем учебном заведении и думать не придется. В характеристике говорилось, что я проявил фашиствующие настроения, потому что проиллюстрировал парад учителей, отличавшихся свирепым нравом, темой нашествия Шостаковича из Седьмой симфонии. Сообщалось также, что я постоянно совершаю бестактные поступки, и апофеозом стала фраза, что я сознательно не вступил в ВЛКСМ. Это был политический ярлык. Ни о какой консерватории не могло идти и речи. Но мир не без добрых людей. У нас учился сын одного заместителя министра. Симпатизируя двум пострадавшим, замминистра позвонил Фурцевой и рассказал нашу историю. Фурцева вмешалась, и характеристики нам переделали, вернее, просто выдали те, которые были отпечатаны до капустника. Через какое-то время комиссия Министерства культуры подтвердила все то, о чем мы рассказывали в капустнике. Зам. директора ЦМШ уволили, директор получил выговор.

— А не кажется ли вам, что вы отплатили им теми же методами?

— Нет. Просто справедливость восторжествовала. Кстати, произошло это совершенно случайно. Не было бы этого человека, который решился позвонить Фурцевой. Улетела бы Фурцева в командировку. И все. Ужас в том, что справедливость восторжествовала случайно.

История с капустником оказала на меня очень сильное воздействие. Я твердо понял, что буду жить по принципам, которые мне кажутся правильными, и с тех пор я старался отделаться от стереотипов, которые мне были навязаны и которых мы уже просто не замечаем.

— Я вас слушаю и мысленно возвращаюсь к своим школьным годам. Мы ведь с вами ровесники. Мы росли в одной стране, в одном городе. Я понимаю, что от воспитания очень многое зависит. Но ведь помимо воспитания существует среда, в которой растешь. В то время среда была достаточно однородной. Для меня, например, понукания в школе, приказ директора подстричься, власть силы в школе и на улице, как, впрочем, и власть идеологических догм, воспринималась совершенно естественно. Я бы не сказал, что такой порядок мне был по душе, но я старался жить по его законам. И сейчас, когда я слышу, что вы в четырнадцать лет анализировали соотношения добра и зла, сравнивали их с принципами нашей тогдашней жизни, мне что-то не верится. Вы же не в вакууме жили?

— Конечно, не в вакууме. Но жизнь музыкантов вообще очень замкнута. Дома и в школе — рояль. Лишь немного времени остается на литературу, историю.

— Неужели у вас не было никаких контактов с внешним миром?

— Не было. У меня не было ни каникул, ни выходных дней, ни дней рождения. К тому же в нашей Центральной музыкальной школе существовал и климат особый, в силу специфики. И именно в этом климате можно было почувствовать свою индивидуальность и развить ее, да и вообще понять, что такое индивидуальность. Но парадокс заключался в том, что, осознав свое «я», моментально ощущаешь кругом огромное нагромождение лжи, которой все подчиняются — кто-то сознательно, кто-то бессознательно, кто-то просто из-за пассивности. Причем подчас очень трудно определить, что есть правда, а что неправда. Понять, что есть твое, а что впиталось в результате пропагандистской обработки. Мне иногда и сейчас, когда я уже, кажется, сбросил кожу, не так-то просто определить, что есть мое, а что привнесено в меня.

Но все же, я считаю, что самое главное — это дошкольный период. Моя мать, например, сознательно или бессознательно делала ставку на ярко выраженный индивидуализм — и в музыке, и в стиле. Она всегда противопоставляла личность коллективу. В этом не было никакой политической окраски. Просто она считала, что нужно верить в себя, развивать собственный стиль.

— Но ведь так можно воспитать чудовищного эгоиста.

— Совершенно верно. Но, видимо, человек и должен быть в какой-то степени эгоистом, чтобы развить свою индивидуальность.

— А представьте себе, что индивидуальность воспитывается не на таланте?

— Все равно человек найдет себя. По крайней мере он научится отличать правду от полуправды и в конце концов сделает свой выбор. У него по крайней мере будут все необходимые данные противостоять неестественной жизни.

— Когда вы говорите о человеке вообще, мне кажется, я слышу голос клубного пропагандиста-агитатора, рассказывающего о «формировании нового человека». Расскажите лучше о себе. Неужели действительно ЦМШ в рамках системы могла дать такую возможность сформировать индивидуальность?

— Вы знаете, да. Это впрямую связано с нашей лауреатоманией. С одной стороны, вся система профессионального обучения в ЦМШ направлена на развитие яркой личности, чтобы государство могло использовать ее для своего престижа, как достижение советской музыкальной школы. С другой стороны, весь общеобразовательный процесс направлен на подавление индивидуальности. К тому же советской машине того времени нужны были просто хорошие исполнители, которые быстро и технично играли пассажи и могли побеждать на конкурсах. Поэтому у нас такое перепроизводство лауреатов. Их сотни, тысячи. Им негде играть, и, самое главное, они никому не нужны. Но система продолжает работать, выпуская все новые и новые сотни. Знаете, что спросил проректор, когда я пришел на собеседование в консерваторию? «Не будешь больше делать капустники?»

— И что вы ответили?

— «Не буду». И слово свое сдержал. Я никогда больше не занимался общественной деятельностью.

Моя профессиональная карьера была очень похожа на трамплин. Не успел завершиться первый семестр, как меня назначили в советскую команду конкурса имени Чайковского. Честно говоря, я этого не ожидал. Правда, мне не предлагали, а просто приказали. Впрочем, расчета на меня, как на победителя, не было. Победители намечались заранее.

— Вы знаете, я не буду это в интервью вставлять. Чем вы докажете? Обвинение серьезное. Как потом выкручиваться?

— Как хотите. Но, учтите, у нас все конкурсы достаточно политизированы. Особенно конкурс имени Чайковского. Если вам нужны примеры, то пожалуйста. Даже на первом конкурсе, когда решался вопрос: давать ли первое место Вану Клиберну, звонили Хрущеву. И то позвонили после того, как Рихтер в знак протеста покинул жюри. Многие могут подтвердить.

Меня включили в нашу команду как молодое пушечное мясо, чтобы усилить сборную. Но произошло непредвиденное. Кто-то сыграл хуже, кто-то лучше, и неожиданно для окружающих, как, впрочем, и для себя, я занял первое место. На этом мой взлет не закончился. Вскоре произошло еще одно событие. Святослав Рихтер отказался принимать участие в Зальцбургском фестивале. Надо сказать, что этот фестиваль — самое престижное, что только может быть в мире классической музыки. Это как франкфуртская книжная ярмарка, как лондонское дерби. Поскольку до открытия оставались считанные дни, паникующий директор фестиваля прислал телеграмму с просьбой прислать ему последнего победителя конкурса имени Чайковского, чтобы хоть как-то спасти вечер. Ситуация неприятная. Я прилетел в Зальцбург. Это был мой первый выезд за границу. И получил удар сродни солнечному. Я вышел на сцену и просто ослеп от сверкания бриллиантов, от белых манишек, смокингов и бабочек. Такой публики я даже представить себе не мог. Концерт шел с переменным успехом. Нервничал я. Нервничала публика, которая только у входа с удивлением узнала, что выступает не прославленный Рихтер, а никому не известный мальчишка. Многие, кстати, прямо перед входом перепродавали билеты. Вечер задержался на полчаса. Я играл очень сложную программу. Играл так, будто после выступления должен умереть. Не знаю, то ли от испуга, то ли от шока мне многое удавалось, и уже после первого отделения публика не отпускала меня. В перерыве я почувствовал, что отношение ко мне резко изменилось. За кулисы входили агенты, как сейчас называют импресарио, и сразу же пытались договориться о контрактах. Удивило поведение солидных мужчин, которые стали вдруг обходиться со мной, как с дорогой игрушкой, хотя буквально час назад меня просто не замечали. Это было и смешно, и забавно, и в то же время ужасно нравилось. Госконцерт тогда заключил огромное количество договоров, и я стал ездить. Началась совершенно новая жизнь, которая сулила манну небесную по сравнению с той аскетичной жизнью, которую я вел до этого. Шел август 1974 года.

А дальше моя жизнь до 1979 года разделяется как бы на две. Одна из них парадная, а вторая — моя личная. Попав в обойму преуспевающих музыкантов, я, помимо поездок за рубеж, был активно задействован в правительственных концертах, которые проходили в Кремлевском Дворце съездов. Очень смешные мероприятия. Если в зале находился Брежнев, то, выходя на сцену, нужно было предъявить паспорт. Один раз я его забыл и меня на сцену не пустили. Пока я бегал за паспортом, сцена стала подниматься, и мне пришлось по-обезьяньи карабкаться, в результате чего я порвал себе штаны. Все выступления я просидел в разорванных штанах. Зато с паспортом в кармане.

Знаете, я ведь выступал даже на торжественном банкете по случаю 70-летия Брежнева.

— Не может быть!

— Может. Мы, несколько актеров и музыкантов, сидели отдельно, недалеко от главного стола, который по форме напоминал букву «Т». В президиуме члены Политбюро, за столом родственники и другие приглашенные. В паузах между тостами нас выпускали на маленькую эстрадку. Кто-то пел, кто-то декламировал стихи, Хазанов рассказывал про кулинарный техникум, а я играл Шопена. Когда банкет подходил к концу, к нам подсел какой-то странный человек и стал по очереди со всеми шептаться. «Кто это?» — спросил я Хазанова, сидевшего рядом. «Завотделом культуры Шауро,— сказал Хазанов и добавил: — Он сейчас желания исполнять будет». «Как это?» «Ну проси, что захочешь».

— Что вы попросили?

— Он подсел ко мне, поблагодарил за выступление и спросил, не нужен ли мне рояль Стэнвей, который, по его словам, можно было достать через Совет Министров. Не знаю почему, но я отказался, хотя дома у меня был старый, раздолбанный рояль.

— А что просили остальные?

— Не знаю. В зале было шумно, а желания произносились шепотом.

— Интересно. А на каких еще торжественных мероприятиях вам довелось выступать?

— Вы знаете, после дня рождения Брежнева я написал письмо, в котором категорически отказался принимать участие в подобных концертах, и меня оставили в покое. Правда, потом припомнили.

— Вы рассказали о парадной стороне жизни. Ваша личная жизнь, нужно думать, тоже была насыщена событиями?

— Да, но совсем другого рода. Когда я впервые столкнулся с западным образом жизни, треснули отечественные пропагандистские стереотипы. Если теория о двух враждебных мирах у меня и раньше вызывала сомнения, то теперь она начала рассыпаться. Я увидел прекрасную культуру, я познакомился с новым, незнакомым мне видом человеческих отношений, гораздо более искренних и честных. Я увидел людей, каждый из которых был индивидуальностью. Плохой человек не скрывал своей сути. Экстравагантный — делал все, чтобы подчеркнуть свою экстравагантность. И она проявлялась в его поведении, в одежде. Короче, каждый стремился быть собою. Не последнюю роль сыграло, наверное, и то, что я получил доступ к эмигрантской литературе и проглатывал буквально все. Сейчас все эти произведения у нас изданы, а тогда я воспринимал все обостренно, может быть, еще и потому, что в командировки мне приходилось брать учебники по марксизму-ленинизму. Экзамены приходилось сдавать экстерном.

Помните Онегина, Печорина, которых мы проходили в школе? «Проходили», слово-то какое отвратительное. Когда я побывал на настоящем венском балу, когда увидел светских людей в высоком понимании этого слова — образованных, высокоэрудированных, я заново сел перечитывать «Героя нашего времени», и Печорин стал мне понятен. Венский бал, Зальцбург. Для нас это сказочная жизнь, где сохранены все традиции, где связь времен никогда не прерывалась. Однажды, выступая в Зальцбурге, я простудился. После концерта мы с женой зашли в один из кабачков и заказали глинтвейн — горячее вино. Сели за столик, неожиданно пошел снег, и я почувствовал, что если бы сейчас отворилась дверь и на пороге кабачка появился Моцарт, то никто, в том числе и я, не удивился бы этому. Я думаю, это замечательно, что культура живет, что ничто не нарушило естественного хода времени. К сожалению, нам с нашей жизнью, похожей на гипсовые памятники, это понять невозможно. У меня иногда вообще такое ощущение, что и мы не люди вовсе, а гипсовые фигурки, существующие в ограниченном пространстве. Гипсовая жизнь. Вы никогда не обращали внимания на портреты Ленина на советских деньгах? Ленин на них гипсовый. А в других странах на деньгах изображены живые люди. Знаете, меня удивляет, что вы не чувствовали никаких искажений в нашей жизни. Неужели вы не знали, что у нас

творится несправедливость, что хорошие люди сидят, что из страны выселяют, изгоняют талантливых, честных людей?

— Нет, не знал.

— Неужели вы ничего не слышали о Солженицыне?

— Ну, почему, не только слышал. Я знал, что Солженицын — враг. Это настолько вошло в меня, что даже сейчас, когда его произведения широко публикуются и я понимаю, что они действительно потрясающие и написаны с болью, на которую способен только человек, любящий свою Родину, я все равно не могу отделаться от какого-то внутреннего ощущения, что он не наш. Нет. Не враг. Просто чужой. И ничего не могу с собой поделать. Как будто внутри зажигается красный свет — сигнал опасности. ...Но давайте все же вернемся к вашей жизни.

— После нескольких командировок ко мне стали приставлять сопровождающих. Не знаю, какими мотивами была вызвана опека, но я думаю, что это чистейшего вида паразитирование аппарата Министерства культуры. Сопровождающие питались и жили на деньги, заработанные мной. Очень часто они не бронировали номера, и тогда приходилось ночевать с ними вместе в номере с двуспальной постелью. Если сопровождающий храпел, для меня это была просто катастрофа. Я ворочался всю ночь, не в силах заснуть, а утром шел на репетицию. Однажды в Лондоне я был с сопровождающим, не понимавшим по-английски, так мне приходилось ему переводить. Примерно в то же время я познакомился с деятельностью такой организации, как КГБ. Было это в 1975 году. Мне позвонил человек и представился не то Геннадием Ивановичем, не то Николаем Ивановичем. Я так и не запомнил. Он сам всю дорогу путал свои имена. Вскоре Геннадий Иванович вместе с молодым человеком по имени Сережа пришли к нам с мамой домой на Суворовский бульвар. Представившись людьми из органов, чем напугали меня до смерти, они высыпали передо мной кучу фотографий. На них я узнал моих друзей за рубежом. Там были студенты, люди, с которыми я встречался, когда они приезжали в Москву. Мне сказали, что это фотографии зарубежных агентов, которые работают на западные спецслужбы. Когда я пришел в себя от изумления, то стал повнимательней вглядываться в моих непрошеных посетителей. Геннадий Иванович был пьян, кстати, у меня сложилось впечатление, что это его перманентное состояние. Сережа был молод, зажат в костюм, как в броню. Меня он предупредил, что если встречу его у консерватории, не здороваться и не подавать виду, что знаю его. Посмотрев фотографии и познакомившись с представителями славных органов, я понял, что и здесь все профанация. Это была чистой воды имитация деятельности. Пока я рассматривал моих посетителей, они лениво и неубедительно читали лекцию о диверсантах, которые только и занимаются тем, что переманивают советских талантливых исполнителей за рубеж.

— А вдруг действительно переманивают? К вам ведь наверняка подходили и предлагали остаться?

— Никогда. А ведь было время, когда очень хотелось, чтобы кто-нибудь пригласил. Видать, не повезло. Меня огорошило то, что люди, названные агентами, были музыкантами, переводчиками, студентами музыкальных школ.

— Но ведь они иностранцы?

— Да, это были иностранцы, с которыми мне приходилось встречаться, выезжая за рубеж. Но никогда я не помню, чтобы кто-нибудь из них даже упомянул такую тему, как эмиграция. И теперь появилась эта парочка и предложила на них доносить. Я отказался. Парочка зачастила ко мне домой. Они сваливались будто снег на голову, без звонка. После целого ряда обременительных визитов меня стали приглашать в маленький домик на улице Наташи Качуевской. Я не помню его номера, но этот дом существует до сих пор. На нем нет никакой вывески, окна в решетках. Когда я приезжал туда, отрываясь от занятий, и проходил сквозь металлические двери, предъявляя паспорт, то снова попадал на лекции «Геннадия Ивановича» и обреченно слушал его, окутанный выхлопами перегара. Он рассказывал о разгуле империалистов, о бдительности, о том, что советские органы не позволят срывать самые прекрасные цветы со своей клумбы. Это была унизительная процедура, настоящее унижение человеческого достоинства. Их интересовало все, начиная от того, какого цвета волосы у моего агента, до возраста секретарши в фирме ЕМИ.

— Вы можете объяснить, что же вас все-таки оттолкнуло?

— Во-первых, совершенно бездарные вопросы, а во-вторых, полная нестыковка. Меня уверяли, что мои хорошие знакомые — это враги. Меня уверяли, что мой продюсер на ЕМИ Джон Виллан работает на секретные английские службы, когда я прекрасно знал его жизнь. Представьте себе преуспевающего банковского служащего, который ради любви к музыке бросил свою карьеру и пошел переставлять микрофоны в ЕМИ. И только много лет спустя благодаря своему трудолюбию, стал ведущим продюсером, а затем директором Лондонской филармонии. Ну никак этот человек с высокой культурой, обширными знаниями не ассоциировался в моем сознании с шпионской деятельностью. Меня же в этом уверяли люди, которых я глубоко не уважал. Они были просто омерзительны и отсутствием элементарной культуры, и своим внешним видом, и своей пугающей должностью, которая была достаточно скомпрометирована. О деятельности такой публики мне уже тогда многое было известно из литературы. У меня было большое основание верить Солженицыну, Войновичу и многим другим интеллигентным людям, которые прошли через то же самое.

— Ну, а если бы с вами работали интеллигентные профессионалы, которые бы объяснили, что ваша информация просто необходима Родине, как бы вы поступили?

— Наверное, я бы тогда задал вопрос: почему органам безопасности интересны профессиональные музыканты? Ну и потом я все равно бы отказался, поскольку считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Если ты работник органов, то должен быть профессионалом. Нельзя совмещать два дела.

— А вам льготы предлагали?

— Мне просто говорили, что мне зачтется. Кстати, уже в это время один за другим на Западе начали оставаться наши музыканты. И если раньше об эмигрантах я знал понаслышке, то теперь это были мои ровесники. Со многими я был хорошо знаком.

— Ну, а вы-то сами задумывались, почему убегают?

— Нет, тогда я даже и не думал об этом. Я был слишком занят своими делами, учебой. Потом для меня сама идея побега казалась кощунственной.

Тем более что я не сталкивался тогда с серьезными проблемами и меня вполне устраивало положение студента с привилегиями, с возможностью концертировать, выезжать за рубеж.

— Вы, наверное, еще и неплохо зарабатывали?

— Конечно, неплохо. Но теперь я понимаю, что оплата была нищенская. Бывало, денег хватало только на завтрак. Особенно это происходило, когда Госконцерт заключал сделки с организациями, во главе которых стояли коммунисты. Хорошие музыканты уступались в таких случаях по дружбе.

Впрочем, финансовые вопросы меня не волновали, потому что я всецело был поглощен своей карьерой. К концу 70-х годов я уже прочно утвердился на мировом рынке. Мои контакты расширялись. Меня приглашали играть с большими оркестрами. К концу 1978 года меня пригласил Караян. План был просто потрясающий. Мы договорились в 1979 году записать первую в мире цифровую запись (цифровые звукозаписывающие машины только появились) Второго концерта Рахманинова с берлинской филармонией. Это был подарок судьбы. Он перевешивал все неприятности и невзгоды. Это время было для меня памятным еще и потому, что я женился.

— Если не секрет, кто была ваша избранница?

— Какой тут секрет, если с этой женитьбой связаны самые роковые последствия. Но все по порядку. Мне очень понравилась Таня Климова — хорошая, милая девочка. Она заканчивала ЦМШ и была моей поклонницей. Брак наш действительно был скоропалительным. Но мне было уже 25, я считал, что созрел для женитьбы. Единственно, что я не сделал, так это не познакомился поближе с ее родителями, известным скрипачом Валерием Климовым и его супругой певицей Раисой Бобриневой. Свой промах я осознал значительно позже. А сначала мой тесть и моя теща стали предлагать мне совместные выступления. Речь шла о семейных концертах. Я вежливо отказывался и продолжал усиленно работать. 1979 год стал пиком моей загруженности. Вместе с Рихтером я записал все сюиты Генделя, параллельно выступая на фестивале Чайковского с Рикардо Мути в Лондоне. Помимо этого, в Москве записал все этюды Шопена. Кончилось перенапряжение довольно печально. Я заработал язву и на время прекратил выступления, чтобы полностью восстановиться до работы с Караяном. И здесь Госконцерт вновь заключил «дружеский» контракт с итальянской стороной на множество концертов. Я понял: не потяну и решился на крайние меры — написал письмо Демичеву, в котором просил дать мне возможность полечиться. Насколько я знаю, Демичеву мое письмо не понравилось. Тогда не было принято, чтобы советский артист отказывался от зарубежных гастролей. Как и следовало ожидать, мне намекнули, что если вы, дорогой товарищ, больны, то посидите-ка дома годика эдак два, полечитесь.

— Неужели у нас так не ценили артистов?

— Понимаю ваш ироничный тон. Но все обстояло сложнее. Думаю, к тому времени на меня набралось слишком много негативного материала. Во-первых, я не слушался своих сопровождающих, которые наверняка отражали мое поведение в своих рапортах.

— И как же вы их не слушались?

— Ну, например: в Италии на фестивале молодых исполнителей вопреки запрету сопровождающего ушел на берег моря под окна гостиницы, где молодые музыканты устроили посиделки с костром.

Во-вторых, в прессе я позволял себе нелестно высказываться о структуре и руководстве Министерства культуры и Госконцерта.

— Это были политические заявления?

— Да какое там политические! Я говорил, что в том виде, в каком существует Госконцерт, он не может способствовать правильному развитию русской музыкальной школы. Когда выходишь на новый уровень, работать через Госконцерт просто невозможно. Классическая музыка сегодня — это целый бизнес со своими правилами и принципами. Дело вовсе не в деньгах, как утверждал в интервью вашему журналу Николай Петров, дело в том, что на определенном витке своего развития необходимо не просто выезжать за границу, а быть в определенном месте в точно определенное время. Кроме этого, необходимо иметь постоянную, непосредственную связь с менеджерами, дирижерами и оркестрами, что через Госконцерт осуществлять просто невозможно. И поэтому приходилось заниматься установлением связи только после пересечения границы. А это очень сложно, особенно во время гастролей. Теперь-то я понимаю, что глупо обвинять Госконцерт, когда он просто опутан опекой Минкульта.

— Ну, а что в-третьих?

— В-третьих, было то, что в стране начали закручивать все гайки. В Краснопресненском райкоме комсомола, где я каждый год оформлял характеристику, двое молодых ребят с беспокойством сказали, что волнуются за меня. Накануне к ним в райком пришла инструкция усилить контроль, строже подходить к характеристикам и так далее и тому подобное. Но я не придал этому значения. Я решил все силы бросить на запись с Караяном. Готовился я усиленно, занимаясь днями и ночами в зале у Святослава Теофиловича в его квартире, поскольку там очень хорошая звукоизоляция. Уезжая на гастроли, он оставлял мне ключ.

И вдруг накануне отъезда в Западный Берлин меня вызывает начальник внешних сношений Министерства культуры Кузин и, страшно волнуясь, мямлит какую-то чепуху, что якобы в связи с осложнившимися международными отношениями я не могу лететь на концерт с Караяном... Не знаю, что произошло со мной в тот момент. Может быть, я потерял сознание, может быть, у меня отнялась речь. Я тупо сидел на стуле в его кабинете, не понимая, что он говорит. Единственно, я понял сразу, что политическая обстановка к этому не имеет никакого отношения. Я пришел домой совершенно ополоумевший, дозвонился до агента в Западном Берлине Доротеи Шлоссер и предупредил ее. Она отказывалась верить. После этого я кинулся к Демичеву. Демичев меня не принял, а его помощник, которому я изложил суть дела, заявил, что министр культуры не пожарная команда. Пока я бегал по Министерству культуры, Доротея Шлоссер обратилась к советскому послу, и он связался напрямую с Москвой и был, видимо, так напуган ответом, что прекратил всякие попытки помочь. В министерстве я стал свидетелем редкой для этого ведомства сцены. Из дверей заместителя министра культуры Барабаша выскочил, дико матерясь, директор Госконцерта Супагин, для которого эта история была полной неожиданностью. Даже по тем временам ситуация была экстраординарная. Обычно, когда затевалась очередная интрига, руководство министерства и Госконцерта было единодушно. Здесь же все было наоборот.

Меня все время вызывал Кузин и спрашивал, нельзя ли послать телеграмму, что я болен. Нет, нельзя, ответил я, что-то сострив насчет мнимого больного Мольера. Кузин, растерявшись, вдруг стал просить, чтобы я сам придумал причину, по которой не могу поехать. Это было уже за гранью.

Концерт не состоялся. Все закончилось крупным и неприличным скандалом. В Берлине медлили, ожидая решения Москвы, и не сообщали Караяну о случившемся. В результате он даже пришел на репетицию, думая, что я нахожусь где-то в Берлине и с минуты на минуту появлюсь. После того как Караяну сообщили о том, что произошло, он на долгое время отказался играть с советскими артистами, заявив, что со мной он будет играть только тогда, когда у меня не будет советского паспорта. По телевизору в «Новостях Берлина» показали телеграмму из Госконцерта, где говорилось, что я занят на гастролях в Советском Союзе и не могу приехать. Лучше бы ничего не посылали, потому что контракт на концерт с Караяном был подписан задолго. Я был полностью деморализован. Моя нервная система не выдержала, и я заболел вегетососудистой дистонией, приступы которой настигали меня постоянно.

Окончание на стр. 26.

Ведет рубрику
Виталий ШЕНТАЛИНСКИЙ

СЕДЬМОЕ НЕБО

*Петербург, 1916 г. Кто-то из друзей написал на ее фотографии: «Солнышко!..» Это слово не стерлось за целую жизнь.
«Нина Г. тогда напоминала то ли персонаж из скандинавских саг и преданий, то ли григовскую Сольвейг. Пшенно-белые волосы, голубые глаза, решительный тон...» (Лев Успенский).*

Красавица и умница. Ровесница века. Дочь профессора Военно-медицинской академии, обрусевшего шведа Ивана Эдуардовича Гаген-Торна. Отчаянная с детства: ездила верхом, лазала по соснам на дюнах, уходила в море на байдарке одна, к ужасу близких.

Выпускница Петербургского университета. Поэт — ученица Андрея Белого. Ученый-этнограф — ученица Тана-Богораза и Штернберга. Блестящее, многообещающее начало. Скитания по русскому Северу и Поволжью — экспедиции «с котомкой» (так называется ее повесть о юности). А между скитаниями — совсем другой мир: Петербург — Петроград. Встречи с Андреем Белым. Вот какими остались они в памяти Нины: «Общение с Борисом Николаевичем открывало неведомые пласты сознания, прасознания какого-то... Это другое восприятие мира, где человек взлетел над видимым глазами в невидимое».

Такой была увертюра. А потом жизнь: тюрьмы и лагеря. Возчик на конях и быках в разных лагкомандировках Колымы: Сеймчан, Эльген, Мылга... Один срок, второй... И там надо не только выжить, но запомнить, запечатлеть в слове.

Об этой поразительной судьбе — письмо, присланное во Всесоюзную комиссию СП СССР по литературному наследию репрессированных писателей К. С. Хлебниковой-Смирновой из Таллинна:

«Она работала в Академии наук, в Ленинграде, с перерывами: то пять лет в Академии, то на Колыме или в каком-нибудь другом лагере, и все по пять лет! Дети в малом возрасте были отняты у нее...

Встретилась я с Ниной Ивановной в Мордовии, в Потьме, в 1949 году. Я после брюшного тифа находилась в полустационаре третьего лагпункта. Лежали мы на сплошных нарах, больные, занятые своим горем. Почти все были обвинены в преступлениях, которых не совершали. К нам приходила, нам служила известная своей добротой Нина Ивановна. Она не только старалась облегчить нам физические страдания, но и душевные. Читала свои и чужие стихи, рассказывала об экспедициях. И мы на какое-то время забывали о своей доле горькой...

Нина Ивановна работала в лагерной обслуге «конем». Она говорила: «Конь — благородное животное. Хорошо быть конем!» (Несколько женщин впрягались в телегу летом, в сани зимой и возили бочку с водой то в столовую, то в больницу. Возили они и дрова. Труд тяжелый, а женщины были пожилые...)

Помню такой случай. В сильный мороз женщины никак не могли опустить в колодец ведро. Сруб колодца очень обмерз, а колодец глубокий. Надо было спуститься на веревке вместе с ведром и топором увеличить прорубь. На такое дело решилась только Нина Ивановна. Она попросила обвязать ее веревкой и, вися на веревке и кое-как опираясь ногами о края проруби, старалась прорубить ее больше, чтобы пролезло ведро. Смотреть было страшно, а Нина Ивановна работала спокойно и весело.

Другой раз я видела ее сидевшей на обледенелом желобе, высоко над землей. Желоб был протянут между двумя домами — баней и прачечной — на высоте трехэтажного дома. Я плохо помню всю эту конструкцию, но хорошо помню, как Нина Ивановна медленно едет, сидя верхом на желобе, и обрубает топором лед, чтобы прошла вода. Мы, глядя на нее, пугаемся, а она весело смеется.

На 10-м лагпункте было много украинских больных девушек. Нина Ивановна устроила академию — занималась с девушками русской литературой и историей. Впоследствии некоторые из них поступили в университет на филологический. Кроме академии, Нина Ивановна написала там большую поэму о Ломоносове, которую во время обыска отобрали лагерные надзиратели. Оперуполномоченный сказал Нине Ивановне: «Пишите и приносите ко мне на хранение. Когда освободитесь, я ее вам пришлю по почте...» Сдержал слово, прислал в Красноярский край, где Нина Ивановна оказалась в ссылке...»

Реабилитация после смерти Сталина. Встреча со взрослыми уже детьми. Родовое гнездо — старый деревянный дом, чудом уцелевший на Ораниенбаумском пятачке. И третья эпоха жизни — тридцать лет всепоглощающего труда: научная работа в Академии наук и литературное творчество. Научная монография, десятки статей, книга о своем учителе — Л. Я. Штернберге, рассказы, повести, поэмы, сотни стихотворений, воспоминания...

И почти все до сих пор не опубликовано.

Ничто не изуродовало ее души, не сломило духа. Улыбка — на всю жизнь. Когда однажды фотография Нины Гаген-Торн была опубликована в газете, в редакцию посыпались письма, некоторые просто с фотографиями неопознанных загадочных женщин: «А может быть, это она?..» Само явление красоты взволновало, растревожило.

Кроме высокого примера человечности, Нина Гаген-Торн оставила нам еще один пример — спасения через Слово. Свои наблюдения — выстраданные, мудрые — о природе поэтического творчества она выразила в чеканной формуле: «Те, кто разроют свое сознание до пласта ритма и поплывут в нем — не сойдут с ума. Стих, как шаманский бубен, уводит человека в просторы Седьмого Неба...»

Этот феномен еще требует осмысления. Может быть, потому и не сошел наш народ с ума, что находил это спасительное убежище — в творчестве, в Слове. И не в том ли печальная разгадка такой особой склонности нашей к литературе?

«Который час?» — «Не велено говорить». (Петропавловская крепость. Полтора века назад.)

Алексеевский равелин. Двадцать лет в каменном мешке. И за все это время рядом — одна живая душа — мышонок, которого особо опасный преступник декабрист Гаврила Батеньков приручил хлебными крошками и лаской.

Погребен заживо. И только от него зависит убедить мир в своем существовании. Хватит ли сил? И тогда он обратил взор внутрь себя. Он решил: надо отречься от условностей, невежества и грубой силы и за стенами крепости делавшими его несвободным. Надо открыть в себе новый, прекрасный мир доброты и любви и предложить его людям.

С заклинанием «В челе человеческом есть свет!» он пустился в путь, в путь «по вертикали», ибо горизонтальный был ему отрезан.

«С ноября 1827 года было откровение: слово Божие...»

Двадцать лет длился этот невиданный эксперимент. Отчет о нем — рукопись, мелко и торопливо исписанная, и толстая пачка писем к царю.

«В челе человеческом есть свет, равный свету. Мысль».

В двадцатом столетии духовный подвиг Батенькова повторят тысячи — сообразно силе гнета и насилия и противоборствующего им духовного отпора. Тот же рывок в Седьмое Небо — как единственный выход.

Стихи Нины Гаген-Торн знали и ценили Анна Ахматова и Борис Пастернак. Илья Сельвинский писал ей в 1964 году:

«Дорогая Нина Ивановна! С глубоким волнением прочитал Ваши стихи. В них захватывает подлинность переживания. Это гораздо выше искренности, которая иногда у некоторых поэтов как бы смакует боль и этим впадает в кощунство. Вы очень верно сказали: «О боли надо говорить простыми, строгими словами»... Именно так Вы и говорите.

Ужасно жаль, что в наше время, запутавшееся в далеко не диалектических противоречиях, Ваших стихов нельзя опубликовать. Но не падайте духом: придет и для них время — иное, освобождающее. Вы в этом отношении не одиноки: целые романы и трагедии спят в берлогах, ожидая весны».

Секрет претворения жизни в стихи она не потеряла до конца свох дней.

Рукописи Нины Ивановны Гаген-Торн передала комиссии ее дочь Галина Юрьевна, сберегшая творческое наследие матери.

Нина ГАГЕН-ТОРН

ИЗ КНИГИ ВОСПОМИНАНИЙ

В библиотеке Академии наук СССР 30 декабря 1947 года мне была вынесена приказом благодарность за организацию выставки по фольклористике. Утверждена к печати составленная мною этнографическая библиография на двенадцать печатных листов. Целый день сотрудники пожимали мне руку, радуясь, что можно считать забытыми мои прошедшие беды: арест 1937 года, колымские лагеря, послелагерные трудности и тревоги. Я весело отшучивалась от поздравлений.

К концу дня, собрав карточки, я диктовала проспект утвержденной моей работы машинистке. «Нина Ивановна, вас просит зайти замдиректора по хозчасти...» У меня безотчетно екнуло и покатилось сердце. Спустилась на первый этаж, постучала, вошла в кабинет. За столом сидели двое. «Нина Ивановна Гаген-Торн?»,— поднимая бумажку, спросил один.— «Да, я».— «Прочтите».— Опять екнуло в груди. Взяла бумажку: ордер на обыск и арест.

Когда человек поцарапает руку или ударится об угол, ему сразу становится больно. Если он сломает руку или пробьет череп — боль приходит не сразу, вначале ее не чувствуешь. Это я уже знала. И знала, что при психических травмах то же самое: неприятность сразу свербит, потрясение доходит до сознания не скоро. Вначале остается спокойствие и как бы нечувствительность. Только мелкая дрожь под коленками да автоматичность движений.

По рассказам на Колыме знала и как выглядят лубянские камеры — ведь это был второй тур. Ленинградская, свердловская, иркутская тюрьмы, владивостокская пересылка были позади.

Меня ввели в «бокс» — изолирующую коробку без окна, где помещался короткий топчан и столик, оставляя два шага до двери. Села, обдумывала поведение. Решила: надо сделать вид, что от шока начала заикаться, тогда будет время обдумать каждое слово ответа, а лишнее слово — лишняя цепь допросов.

Представился дом. Там все готово к встрече Нового года: уже сделана бражка, кончены основные приготовления печений, салатов. Сегодня мы хотели переставлять мебель, чтобы в маленькой комнате разместить гостей — у нас собиралась праздновать молодежь — друзья дочерей. К ним сегодня приедут другие гости, передвинут, обыскивая...

Щелкнул замок. «Пойдемте».

Стрелок повел меня на второй этаж, к следователю.

В кабинете — толстый, кудрявый и потный майор. Посмотрел и сказал:

— Садитесь на стул. Вот в углу. Рассказывайте ваши антисоветские действия.

— У меня их не-не было.

— Что же вас зря в лагерях держали?

— Э-э-э-то бы-бы-ла ошибка,— отвечала я, придерживаясь тактики тянуть и обдумать.

— Вы что, заикаетесь?

— Н-н-н-нервное.

— Так! Значит, по ошибке держали? И вы не питаете за это вражды к Советской власти?

— О-о-о-ошибки случаются. Это не-не-власть, а слу-у-учай.

Он стукнул кулаком по столу, выпучил глаза и закричал:

— Я тебе покажу случай! Б....! Политическая проститутка! Туда твою...

Трехчленка без вариаций. Предназначенная бить громом и стучанием кулака. Прослушала молча, пока он не задохнулся. Сказала спокойно, бросив прием заикания:

— Это бездарно. Я могу много лучше.

И я загнула мать со всей виртуозностью, выученной в лагерях,— в Бога, в рот, в нос, во все дырочки, со всеми покойниками, перевернутыми кишками и соответствующими рифмами. На пять минут, не переводя дыхания, крепкой, соленой блатной руганью. Он слушал с открытым ртом. Когда я остановилась, завопил:

— Это меня?! Меня она материт?!.

Выскочил из кабинета и привел второго, еще толще и рослее.

— Вот, товарищ начальник,— заключенная матерится.

— Просто учу,— сказала я.— Если уж применять мат, надо уметь это делать. Шесть лет я слушала виртуозный блатной мат, а майор хотел терроризировать меня простой трехчленкой. Это не квалифицированно.

Начальник отдела захохотал:

— Уведите ее в камеру.

Потом я узнала, что этот майор служил специально для ошеломления перепуганной интеллигенции криком. Меня взяли в библиотеке Академии наук. Значит, пожилой, тихий научный работник. Надо глушить. Вышла производственная ошибка — забыли, что лагерница.

Мне дали другого следователя.

К вечеру заверещал и щелкнул замок. Дверь широко раскрылась: «На прогулку!»

Нас посадили в лифт. Подняли очень высоко. Открыли дверь. Пахнуло морозцем. Вышла.

Ночное небо озарено снизу огнями города. Ярко направлен луч фонаря, освещающий клетку без крыши. В рост человека бетонные стенки, выше на два метра — проволочная сеть и за ней еще такие же сети клеток. Можно сделать шагов двадцать по кругу. Над клетками мерцает, отражая огни, клубится небо. В луче фонаря танцуют звездочки снежинок. Из глубины, снизу, доносятся гудки машин, звон трамваев, гул большой площади. Клетки — на крыше, на восьмом этаже. Стою. Смотрю.

Кружатся снежные звезды. Под их ритм возникают стихи:

Встав на молитву, стою и молчу.
Сердце свое я держу, как свечу.
Если зажжется сияющий свет,
Будет мне, будет нежданный ответ.
Бьется в висках обессиленный мозг,
Белыми каплями падает воск.
Это — в истаявшем сердце моем —
Вспыхнула вера нетленным огнем.

Во что вера?

В то, что есть все-таки небо. И это помощь судьбы, что не спустили нас в колодец двора, а подняли на крышу. Здесь выход из клетки к танцу снежинок, к черному небу — ничего они не смогут сделать со мной!..

Вспомнилась одиночка в Крестах, в 1937-м. Тогда я еще не знала, что стих в тюрьме — необходимость: он гармонизирует сознание во времени. Ольга Дмитриевна Форш не была в тюрьме, но хорошо поняла, что человек выныривает из тюрьмы, овладевая временем, как пространством. Но он (как его звали, одетого камнем?), выныривая из тюрьмы, не нашел выхода в ритм стиха и потому сошел с ума. Те, кто разроют свое сознание до пласта ритма и поплывут в нем — не сойдут с ума. Снежинки в фонаре тоже танцуют ритмически. Белые на черном небе. Овладение ритмом — освобождение... Они ничего не смогут сделать... Щелкнула дверь клетки: «В камеру!»

Мясорубка работала автоматически. Не было садистской романтики 37-го года, когда мы слышали сквозь стены стоны и крики людей. Когда шептались о побоях и истязаниях, а следователи проводили бессонные ночи, вытягивая из измученных людей фантастические заговоры. Следователи изменились: в 47-м мне встретились не маньяки, не садисты и виртуозы, а чиновники, выполнявшие допросы по разработанным сценариям.

В первый допрос майор орал и матерился потому, что ему был указан этот прием. При неожиданном варианте — ответный мат от интеллигентной и пожилой гражданки — растерялся.

Другой мой следователь поставил меня у стены. Требовал, чтобы я подписала протокол с несуществующими самообвинениями. Я отказалась.

Устав, не зная, что делать, подскочил разъяренный ко мне с кулаками:

— Изобью! Мерзавка! Сейчас изобью! Подписывай!

Я посмотрела ему в глаза и сказала раздельно:

— Откушу нос!

Он всмотрелся, отскочил, застучал по столу кулаками. Чаще допрос был просто сидением: вводили в кабинет, «садитесь» — говорил следователь, не подпуская близко к своему столу. «Расскажите о вашей антисоветской деятельности».

«Мне нечего рассказывать».

Следователь утыкался в бумаги, делал вид, что изучает, или просто читал газеты: примитивная игра на выдержку, на то, что заключенный волнуется. Без всякой психологии: по инструкции должен волноваться. А следователю засчитываются часы допроса. Раз я спросила:

— Вам сколько платят за время допросов? В двойном размере или больше?

— Это вас не касается! — заорал он.— Вы должны мне отвечать, а не задавать вопросы.

Другой раз, когда он читал, а я сидела, вошел второй следователь. Спросил его:

— Ты как? Идешь сдавать?

— Да вот спартанское государство еще пройти надо, тогда и пойду.

Я поняла, что он готовится к экзамену по Древней Греции.

— Спартанское государство? — спросила я мягко.— Хотите, расскажу?

Он покосился, нахмурившись, а вошедший заинтересовался:

— Вы кто такая?

— Кандидат исторических наук.

— А ну, валяйте, рассказывайте! Мы проверим, насколько вы идеологически правильно мыслите.

Он сел. Оба явно обрадовались. Я дала им урок по истории Греции, и мы расстались дружески.

— Идите в камеру отдыхать, скоро ужин,— сказал мой следователь.

Спуск в лифте, переход коридорами под щелканье стрелка, и я — в камере. Миски с перловой кашей уже стояли на столе, а на скамьях сидели женщины.

«Время и пространство, время и пространство...» — думала я, шагая по камере.

В начале девятнадцатого века Кант сформулировал их как координаты при постижении мира явлений. В начале двадцатого века Эйнштейн доказал в теоретической физике относительность этих координат, а Уэллс, забегая вперед художественным прозрением, подумал о машине времени.

Весь двадцатый век человечество разрешает задачу овладеть пространством и временем, невероятно ускоряя передвижение по планете. И — лишает миллионы людей всякого пространства, заключая их в тюрьмы и лагеря. Это сдвигает у них координаты времени: время в тюрьме, как вода, утекает сквозь пальцы. Правильно ведь подметил Тынянов: Кюхля вышел из тюрьмы таким же молодым, как вошел. Он не заметил времени потому, что не имел пространства и пространственных впечатлений. Можно или выйти таким же, как вошел, или, не выдержав, свихнуться... если не научишься мысленно передвигаться в пространстве, доводя мысле-образ почти до реальности. Заниматься этим без ритма — тоже свихнешься. Помощником и водителем служит ритм.

Вспомнилось, как, лежа на койке в Крестах, я увидела Африку:

В ласковом свете
Платановой тени
Черные дети
Склонили колени
На пестрой циновке плетеной...

Так отчего же так странно знакомы эти вот черные дети, листья в платановом свете, красноватой земли пересохшие комья? Оттого, что я сумела нырнуть в себя, собрав и сосредоточив в образ все, что когда-то знала об Африке. И для себя довела этот образ до чувства реальности — выхода из камеры...

Я засмеялась своей власти над пространством. Подошла к женщинам, сидевшим в углу, как куры на насесте. «Хотите, прочту стихи?» — «Очень!» Я стала читать, вперемежку свои и чужие.

В 37-м году, с драгоценным другом моим Верой Федоровной Газе, мы восстановили в памяти и прочли камере «Русских женщин» Некрасова. Камера плакала вся.

В этот тур память моя ослабла — выпадали куски и не было второго, с кем восстанавливать их, но даже куски впитывала камера жадно, как воду засохшая земля. Впитывали и твердили стихи те, кто на воле никогда и не думал ни о стихе, ни о ритме. Каждый день просить стали: «Скажите нам что-нибудь!» Я «говорила» — и Блока, и Пушкина, и Некрасова, и Мандельштама, и Гумилева, и Тютчева. Лица светлели. Будто мокрой губкой сняли пыль с окна, прояснялись глаза. Каждая думала уже не только о своем — о человеческом, общем. Я, наговорив, вставала и начинала бродить по камере, отдаваясь ритму. Выборматывала:

Если музу видит узник —
Не замкнуть его замками.
Сквозь замки проходят музы,
Смотрят светлыми очами...

Недаром знали шаманы, что ритм дает власть над духами, овладевший ритмом в магическом танце становился шаманом, то есть посредником между духами и людьми, не овладевший — кувырком летел в безумие, становился «менереком», как называли якуты, впадал в душевное заболевание. Стих, как шаманский бубен, уводит человека в просторы Седьмого Неба...

Такие мысли, совершенно отрешавшие от происходящего, давали мне чувство свободы, чувство насмешливой независимости от следователя.

Был уже третий следователь у меня, и с ним я поссорилась. Отказалась подписать протокол, им написанный и полный чудовищных обвинений, которые я должна была признать. Следователь перевел меня в карцер. Карцер, или «бокс», как его называли тюремщики,— низкая каменная коробка без окна. У стены вделана деревянная полка покороче среднего человеческого роста, на которой с трудом можно улечься. У противоположной стены — маленькая железная полочка, служащая столом. Расстояние между ними такое, чтобы мог встать или сесть человек. Это — ширина бокса. Протянув руку, достанешь до железной двери с глазком и окошечком. Вентиляции нет. Смысл бокса в том, что очень скоро человек, выдышав весь кислород, начинает задыхаться. В железной двери, у пола, есть маленькие дырочки, но сесть на пол, чтобы глотать идущий воздух, не позволяют. Открывается глазок двери, голос говорит: «Встаньте!»

Пленник начинает задыхаться. Дежурный заглядывает в глазок примерно каждые полчаса. Когда видит, что у заключенного совсем мутится сознание, он открывает дверь и говорит: «В туалет!»

С радостью бросается заключенный. Пока он идет до уборной и находится там — он дышит. Светлеет в глазах, яснее сознание. Дверь бокса остается открытой, воздух входит туда. Его хватает примерно на два часа. После этого опять начинается задыхание. В уборную водят три раза в день. После отбоя полагается лечь на полку-топчан. Если человек лежит — дежурный не может из глазка уследить, спит он или задохнулся. Поэтому после отбоя пускают вентиляцию... С подъемом опять начинается кислородное голодание. Но удушить совсем во время следствия нельзя, поэтому голодание дыхания регулирует надзор часового.

Выход из помутнения сознания можно найти — нырнув в образы, уводящие к ясным и ярким ощущениям простора, и претворяя в ритм эти образы.

Я постаралась уйти в свою юность на Севере. Вспомнила, доводя до предельной яркости воспоминания, поплыла по великой и светлой Северной Двине. И постаралась ритмизировать увиденное:

Широка прозрачность неба,
Отраженная в светлой реке.
Что тебе надо от жизни — потребуй!
И в детском сожми кулаке...

Можно, можно в самой глубокой каменной коробке научить себя слышать плеск воды, видеть ее серебристое сияние и не замечать, что ты заперта, что до неба и воздуха телу не достигнуть. Есть особая радость в чувстве освобождения твоей воли от пленного тела, в твоей власти над сознанием. Кажется — вольный ветер проходит сквозь голову, перекликаясь через тысячелетия со всеми запертыми сестрами и братьями. И мы все, запертые, поддерживаем друг друга в чувстве свободы... Я нашла себе оборону не только от задыхания в карцере, но от наступления на меня всего, что не вмещало сознание... Это превращалось в поэму в течение пяти лет. Не знаю, стало ли это поэмой в «литературно значительном» смысле. Но это — памятник моей внутренней свободы, это — прием к неуязвимости души.

Но возвратимся в карцер. Я сидела двое суток, и было не ясно, сколько еще сидеть: следователь сказал, что пока не соглашусь подписать протокол. Не допускала мысли о подписи под нелепыми обвинениями. Однако я сорвалась, как говорят в лагерях, «запсиховала» — решила объявить голодовку. В 1937-м, по окончании следствия, я голодала семь дней, требуя снятия одиночной камеры и свидания с матерью. Грозили новым сроком, орали, но на восьмой день уступили, выполнив то и другое. Я помнила, что голодовка — тоже взлет в иное сознание, чувство власти над своим телом — освобождение от давящей безвпечатляемости, которая угнетала в тюрьме. Но приступать к голодовке надо с собранной волей и твердым знанием, чего хочешь добиться.

А теперь у меня не было этого. Была муть в голове от удушья — кислорода-то не хватало, даже образы простора помогать перестали.

В тот же день, когда я отказалась принимать пищу, меня повели в санитарный пункт. Посадили на стул, скрутили назад и связали руки. «Будем кормить искусственно. Вставьте расширитель»,— наклоняясь, сказал врач. Я не сопротивлялась, да это и было немыслимо. Железный расширитель лязгнул по зубам, рот раскрыли и ввели мне кишку. «Питательный раствор?» — спросила сестра (при длительных голодовках, когда начинали кормить искусственно, вливали питательный раствор — масло и яйцо, взбитые на молоке). «Чего там, просто литр супу»,— ответил врач.

Сестра молча стала лить через воронку красноватую жидкость.

Голова у меня была запрокинута, рот разжат расширителем, жидкость, переливаясь через воронку, попала в дыхательное горло. Я потеряла сознание.

Очнулась в боксе лежащей на топчане. Дверь была широко раскрыта, человек в белом халате делал мне какую-то инъекцию. Я заснула... Когда очнулась, тело болело, сознание не было вполне ясным, но дышать было можно — значит, ночь?

В двери откинули окошко, образуя подоконник. Положили пайку хлеба. «Принимаете пищу?» — спросил голос. Я молча протянула руку и взяла пайку. На поднос поставили кружку с кипятком. Значит — утро. Скоро я ощутила его и потому, что воздух перестал поступать.

Бороться дальше? Можно бороться, можно пойти и на любое искусственное питание при нормальном дыхании. Без кислорода воля слабеет. Просто задушат, как крысу, подумала я.

Есть не могла — болело оцарапанное горло, но в обед выплеснула суп под топчан, а не возвратила обратно. Они сломили меня...

Дальше — провал в памяти, полузабытье. Вызвали через какое-то время к следователю, идти отказалась, пока не переведут в камеру.

Еще какое-то время ушло. Потом перевели в камеру и сразу вызвали оттуда к новому следователю. О подписании прошлого протокола вопрос отпал.

В камере мне сказали: прошло четверо суток. Они волновались за меня.

Сейчас, зимой 1963 года, время идет у меня в высоких и светлых залах Публичной библиотеки. В хранилище книг чувствую всеми порами, как в обе стороны раскинуты залы, где в удобных креслах склонились над столами сотни людей. Дышит ровное тепло. Каждый склоненный занят своим делом, думает и пишет свои мысли, разнородные — в разные стороны человеческого познания направленные. Он опирает их на это хранилище. Тихим движением может взять с полки книгу или выписать ее из глубин. Она придет из неисчислимого моря книг, и ты будешь беседовать с автором. Движение пера — ты включаешь в свой мозг многолетнюю работу многих. Как огромный беззвучный орган, как силовая станция токов высокого напряжения, дышит работа склоненных голов, опирающаяся на огромное здание мыслей прошлого человечества.

И я думаю: сколько из них, сидящих здесь, привычно живущих в накоплениях человеческих знаний, было, как я, обречено на отсутствие книг и бумаги? На необходимость опираться лишь на собственную память, думать — только про себя? В полной отрешенности от привычных контактов мысли. Мы в ла-

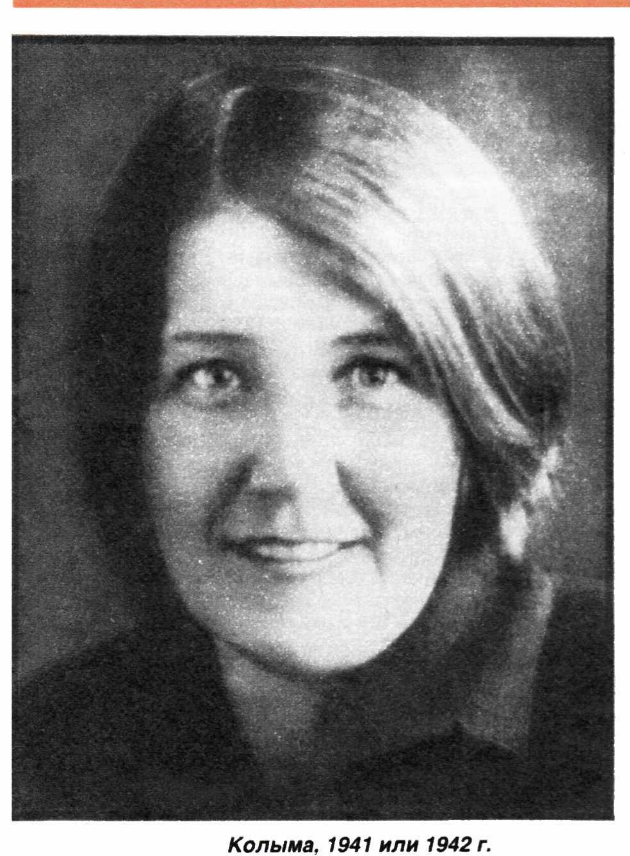
Ленинград, 30-е годы.

В жизни есть много мук,
Но горше нет пустоты.
Если вырвут детей из рук
И растить их будешь не ты...
Н. ГАГЕН-ТОРН



Ленинград, 60-е годы.

«Светлым видением молодости представлялась мне всегда Нина. Признаться, я был даже немного влюблен в нее. Да в нее и трудно было не влюбиться... Думаю, что, несмотря на все бедствия, случившиеся с ней, жизнь ее была полна и что она была счастлива своей необходимостью людям...» (В. Каверин).



Колыма, 1941 или 1942 г.

«В страшной жизни, где люди носили платье с номерами, не имели связи с нормальным бытием, встретить человека, как бы витающего над всем лагерным ужасом,— чудо. И этим чудом была встреча с Ниной Ивановной Гаген-Торн». (К. С. Хлебникова-Смирнова).



герях были, как доски после кораблекрушения. Единственный сигнал, который могли оставлять,— стихи...

Я встаю от стола. Выхожу из беззвучного зала. В зале каталога встречаю собеседников. Мы говорим о Солженицыне,— все думают и говорят о нем, это обязательный привкус дня.

— Анна Андреевна Ахматова, говорят, сказала — необходимо, чтобы его прочитали все двести с лишним миллионов,— сообщает мой собеседник.

— Самая большая удача Солженицына, что он сумел показать день лагеря глазами простого русского солдата,— говорит другой.

— Это удача,— подтверждает третий,— но еще важнее, что он показал, кем был до лагерей «кавторанг», что за люди были брошены в эти условия... Людей, руководивших армиями, предприятиями, организациями, тех, которые умели и должны были стоять во главе больших дел, превратили в рабочую скотину... Их трагедия глубже и значительнее, чем трагедия простого человека...

Собеседники знают, что я пишу о лагерях. Они сами испытали лагеря. «Надо показать, кого лишили страну!» — повторяют они. Я не стану спорить. Но мне надо показать не это. Мне хочется показать, что делается с сознанием разных людей, когда они лишены права распоряжаться своим телом. Тело — имущество государства, вещь, которой распоряжается безличная сила. Это не рабство, принадлежность хозяину — с хозяином неизбежно создавались взаимоотношения: его ненавидели или любили, с ним боролись, ему льстили, у него просили пощады. Это был живой человек и тем самым уже не всесильная стихия. Слепой машиной были порабощены рабы в Египте. Но они большей частью были иноплеменники, могли мечтать о родине. У нас большая часть заключенных была не из чужой страны. Иностранцам — их также собрали в лагере со всех концов мира, начиная Германией и кончая Японией и Кореей,— легче: они военнопленные. Но у людей, которых захватила петля в родной стране, создавались ощущения гонимого на убой стада.

После лагерей как хорошо я стала понимать, как глубоко сочувствовать животным! У нас, как у них, была полная беспомощность перед слепой и всемогущей силой.

Пастух гонит стадо. Он не интересуется, какая овца пойдет на убой, какую оставят на племя. Вовсе не надо быть злым человеком, чтобы гнать скот на бойню. Надо просто верить, что они ничего не переживают подобного тебе, они — другие. Такую же веру развивали у конвоя по отношению к заключенным. Устав диктовал: не разговаривать с заключенными. На них вешали номера, чтобы не было имени. Конвоиров полагалось долго не держать на одном лагпункте, переводить, чтобы — в нарушение устава — не возникли нотки человеческих отношений.

Пребывание подъяремным животным дало мне великую жалость ко всем подъяремным, закованным, на цепи посаженным существам. Я убедилась: выражение глаз, поведение отданного в безраздельную власть существа почти не отличается у человека и у четвероногого. Много лет я работала с лошадьми, была возчиком. Знаю, как сопротивляются и как покоряются животные. В поведении табуна лошадей, стада коров и человеческого стада нет большой разницы.

Это требует не презрения к людям, а уважения к животным. Мы не видим их страданий и мысли только потому, что не хотим замечать. Существует теснейшая связь между беспощадной жестокостью к животным и существованием лагерей, где сидят миллионы людей. Эта связь — атрофия сочувствования существам, которых рассматривают, как отличных от себя.

Когда-то любили — своего ребенка, своего друга, своего родича, своего коня, собаку, корову. Любили индивидуальное существо. «Родина», «Племя» были таким же видимым глазу существом. Государство стало первой абстракцией, которую надлежало любить. И абстракция принесла несчастье человечеству: она превратила любовь сочувствования в подчинение и преклонение.

Раскололась родовая связь. Человек отдал себя в подчинение абстракции. Абстракцией стал для него и мир живых существ, которых он не признает себе подобными.

Великий борец с насилием Лев Николаевич Толстой понял яд государственной машины и сделал коня — Холстомера — живым существом, протестующим быть вещью и собственностью. Нас сделали вещью...

Мне бы хотелось показать, как складывается сознание, как человек-вещь ищет пути освободить себя от страданий тела, которое превращено в чужую собственность.

Н. И. ГАГЕН-ТОРН

(1900—1986)

卍

Дали светлые залива
Золотит закат.
«Чьи вы? Чьи вы? Чьи вы?» —
Чибисы кричат.
— Мы ничьи. Путем-дорогой
С посошком идем,
Помолиться Богу,
Поискать свой Дом.
— Дом ваш сломан и разрушен.
Как его найти?
— Помолись за наши души.
Помоги в пути.

卍

В жизни есть много мук,
Но горше нет пустоты,
Если вырвут детей из рук
И растить их будешь не ты...

И не смыть, не забыть, не залить,
Если отнял детей — чужой.
Эта рана — всегда болит.
Это горе — всегда с тобой.

卍

Ну конечно, конечно, конечно —
Бывает всему конец!
Облако — точно глетчер,
И солнца над ним венец.

Опускается тихий вечер,
Возвращается с поля жнец.
Зажигаются в доме свечи.
Выходит встречать Отец.

卍

Я — нить в руках, Великий Ткач!
Вплетая нить в ковер узорный,
В нем красным цветом обозначь
Живых, а мертвых — черным.
Зеленым — тех, кто будет жить,
Серебряным — воспоминанья.
Великий Ткач! В руках я — нить,
Что алый цвет оставит в ткани.
И Ты в узор ее вплети,
Не оставляй в глухой основе.
Я — нить, на длительном пути
Окрашенная цветом крови.

卍

В застывшем окне — луна,
На полу — ее след голубой.
Знаешь, я сильно больна,
Подойди, склонись надо мной...

И покажется мне тогда,
Припадая к твоим рукам,
Что блестит голубая вода,
Я плыву по большим волнам.

Как хороши у берега скалы,
Бьется, бьется в них синий прибой.
Золотою ладьею малой
Солнце плавает над головой.

卍

Благословенно имя вселенной!
Благословенен жизни зов.
Кругом идет неизменный
Ход неизвестных миров.
А в сердце — песчинке красной —
Тот же ответный звон
И звездным стадам безучастным,
И слезным мольбам племен.

ХРОНИКА ФОНДА «ОГОНЕК» — «АнтиСПИД»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ «АнтиСПИД» ПРИ ЖУРНАЛЕ «ОГОНЕК» — 70000015 ВО ВНЕШЭКОНОМБАНКЕ СССР.

РУБЛЕВЫЙ СЧЕТ «АнтиСПИД» — № 700645 В ОПЕРАЦИОННОМ УПРАВЛЕНИИ ЖИЛСОЦБАНКА СССР.

Главалмаззолото СССР: По решению Коллегии на валютный счет «АнтиСПИД» при журнале «Огонек» № 70000015 во Внешэкономбанке СССР поручением № 59 от 4.08.89 перечислено **100 тыс. инвалютных рублей** в свободно конвертируемой валюте на закупку одноразовых шприцев.

И. АЛЕКСЕЕВ,
заместитель начальника

Касим Зубаиров, ученик 3-го «А» класса школы № 37, г. Махачкала:
Здравствуйте. У меня есть 15 гульденов, которые я выменял на рогатку еще во втором классе. Я увидел такие же деньги в вашем журнале. Папа мне объяснил, что нам всем нужны такие деньги, чтобы купить в Америке шприцы, чтобы не заражались маленькие дети СПИДом и не умирали. Раньше я хотел купить фирменную футболку в «Березке», но подумал, что лучше шприцы детям.

Экипаж теплохода «Александр Пушкин» Дальневосточного морского пароходства перечислил тысячу австралийских долларов на счет «АнтиСПИД» из порта Сидней, Австралия.

Капитан ГАРКУША

Коллектив теплохода «Башкирия» перечислил на счет «АнтиСПИД» 250 долларов.

Отец Евгений Фос, директор Института «Вера во втором мире» (Цюрих):
Ваше письмо меня глубоко тронуло и потрясло. Описанная вами нужда, ваше доверие и ваша надежда, возложенная на мои слабые силы, так же как и сопровождавшее письмо о. Глеба Якунина, заставляют меня приложить все силы к этому делу.
Первым мероприятием высылаю несколько тысяч одноразовых шприцев и других необходимых материалов. Прошу переслать это больницам в Элисте и Волгограде, о которых вы писали.
Как можно скорее посоветуюсь со специалистами в Швейцарии, чтобы обсудить вместе с ними ваши вопросы. Потом уже смогу сделать конкретные предложения.

От редакции. Пастор Евгений Фос согласился стать представителем Фонда «ОГОНЕК» — «АнтиСПИД» в Швейцарии.

Московская еврейская религиозная община — 500 долларов на счет «АнтиСПИД».

Болгарская фирма «КАМ»:
Со страниц вашего журнала мы узнали о вашей инициативе дать бой опаснейшей болезни — СПИДу.
Это в очередной раз вызывает у нас восхищение развернувшимися процессами перестройки в СССР и их отражением и стимулированием в «Огоньке». И в то же время огромное сожаление о пропущенных возможностях из-за бездеятельности ряда ведомств, от которых зависело заказать в дружественной Болгарии необходимое уже не для здоровья, а для жизни оборудование для производства разовых шприцев и игл для них. Уже второй год наша фирма «КАМ» предлагает в СССР (можем перечислить, если надо, все организации, где это предлагалось), автоматические линии и целые заводы производительностью 15 миллионов шприцев.
Такие линии уже работают в нашей стране, ведутся интенсивные переговоры в странах Азии и Африки. В настоящий момент идут поставки в одну из них. Причем только часть завода оплачивается в конвертируемой валюте, так как некоторые узлы закупаются у западных фирм.
В целях рекламы высокого качества продукции наших заводов и в желании принять участие в вашем благородном деле мы делаем вклад в Фонд «АнтиСПИД»:
до конца года доставим в торгпредство СССР в Софии 100 тысяч разовых шприцев и 100 тысяч игл;
переведем на счет Фонда 50 000 рублей из первого подписанного контракта на поставку завода в СССР;
высылаем видеофильм «КАМ» против СПИДа».

Генеральный директор Д. ВЪЛЕВ

От редакции. Одноразовые шприцы из Болгарии мы направим в г. Ростов-на-Дону, в детскую больницу, где было зафиксировано заражение вирусом СПИД.

Фирма «МЕДБИО» (Болгария):
Нам известно, что в Советском Союзе создан благотворительный счет «АнтиСПИД» при журнале «Огонек». Болгарская государственная фирма «МЕДБИО» готова выслать вам 50 тысяч презервативов в подарок. Приложим сертификат качества от английской фирмы.

Председатель управительного совета ДФ «МЕДБИО» проф. д-р ГЕРЧЕВ

От редакции. В декабре презервативы фирмы «МЕДБИО» мы передадим для продажи в три московские аптеки. Вырученные деньги пойдут на рублевый благотворительный счет «АнтиСПИД».

Э. ИЛЬИНА (ФРГ):
Дорогие друзья! Прошу прощения за мизерность суммы прилагаемого чека (300 марок) — я безработная.
С благодарностью за вашу идею и организацию Фонда.

Минмонтажспецстрой СССР:
Министерство довело суть проблемы до подведомственных организаций и предприятий с просьбой о взносах средств на открытые журналом благотворительные счета.
Учитывая важность поднятой журналом проблемы, министерство изыскало возможность внести из централизованных фондов на указанные счета 20 тысяч валюты первой группы и 100 тысяч рублей.

Министр А. МИХАЛЬЧЕНКО

9 декабря **в Московском театре-студии «Превращение»** (Шмидтовский проезд, д. 5. Метро «Улица 1905 года») в 19 часов состоится премьера спектакля «Красный цветок» по мотивам рассказов В. Гаршина.
Весь сбор от премьеры коллектив театра решил перечислить на счет «АнтиСПИД».

Пишет вам 8-й «В» средней школы № 2 (пос. Правдинский Моск. обл.). Мы очень благодарны вам за то, что вы ведете активную борьбу со СПИДом. Мы считаем своим долгом сообщить вам, что, когда нам делают прививки, меняют только иголки. Мы протестуем против этого!!! Не хотим болеть СПИДом!! СПИД не спит!

Ученики 8-го «В» класса (всего 14 подписей)

Ассоциация Хэнкук Илбо — Корея Таймс (крупнейшая организация средств массовой информации в Корее) готова сделать все, что возможно, чтобы помочь вам в вашей войне против СПИДа.
Мы заинтересованы в установлении дружественных отношений между СССР и Кореей посредством различных программ доброй воли, включая взаимообмен журналистами.
В первой фазе такой программы ассоциация в сотрудничестве со связанными с ней деловыми кругами решила подарить 100 тыс. одноразовых шприцев вашему журналу.
Надеюсь, что это предложение явится шагом на пути установления братских отношений между Ассоциацией Хэнкук Илбо — Корея Таймс и журналом «Огонек».
Благодарю вас. С уважением

Чанг Джей Кук,
директор Ассоциации

От редакции. Шприцы из Южной Кореи мы направим в г. Винницу, в областную детскую больницу.

Всесоюзный научно-исследовательский институт медицинских полимеров Минмедпрома СССР и Всесоюзное Объединение государственных, общественных и кооперативных предприятий «Прогресс», проведя ряд переговоров **с фирмой «ВИГГО СПЕКТРАМЕД АБ» (Швеция),** приступили к созданию совместного государственно-кооперативного предприятия «Пропомед». Его целью является организация в СССР производства внутривенных катетеров с металлическим стилетом типа «Венфлон-2».
В настоящее время фирма «ВИГГО СПЕКТРАМЕД АБ» выразила желание передать безвозмездно в Фонд «АнтиСПИД» журнала «Огонек» 10 тысяч внутривенных катетеров. Со своей стороны, Всесоюзное Объединение «Прогресс», как учредитель совместного государственно-кооперативного предприятия «Пропомед», подписало контракт с «ВИГГО СПЕКТРАМЕД АБ» для передачи в ваш фонд еще 10 тысяч детских внутривенных катетеров.

Генеральный директор В/О «Прогресс» М. БАЙРАМУКОВ,
директор ВНИИмедполимер Минмедпрома СССР Г. МАТЮШИН,
торговый директор фирмы «ВИГГО СПЕКТРАМЕД АБ» Дж. СВЕНССОН

От редакции. 20 тысяч внутривенных катетеров сразу после получения Фонд направит в республиканскую детскую больницу г. Элисты, где произошло заражение вирусом СПИД.

Министерство гражданской авиации. Международное коммерческое управление:
Международное коммерческое управление гражданской авиации поддерживает инициативу журнала «Огонек» по программе «АнтиСПИД» и готово принять активное участие в ее осуществлении.
Мы готовы обеспечить бесплатную перевозку одноразовых шприцев и медоборудования на рейсах Аэрофлота из загранаэропортов в СССР в качестве дозагрузки рейса.

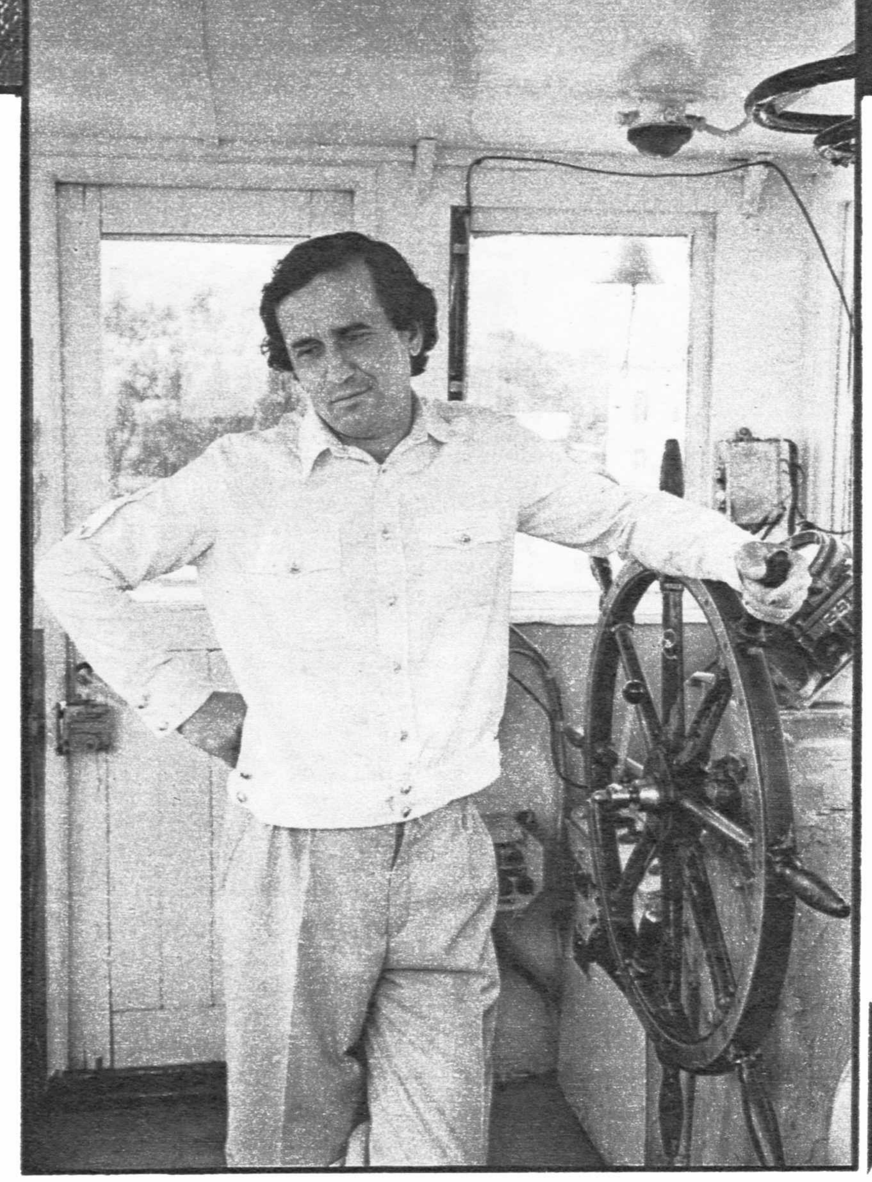
Первый заместитель начальника
В. САМОРУКОВ

У нас в гостях — **Аза Додиевна БОТОЕВА,** проездом из Швеции, где она сейчас живет, в Орджоникидзе, свой родной город. Ее багаж — 2 тысячи одноразовых шприцев, 300 пар одноразовых хирургических перчаток, внутривенные катетеры и т. д. Все это Аза Додиевна вместе с дочерью **Ларисой Томаевой-Йонссон,** врачом в больнице г. Энгельхольм, купила в дар Фонду «АнтиСПИД» и сама везет в детскую республиканскую клиническую больницу в Орджоникидзе.
Мы бесконечно благодарны вам, Аза Додиевна Ботоева, Лариса Томаева-Йонссон.
Мы благодарны всем, кому небезразлична судьба советских людей, кто не медлит в оказании срочной помощи, кто перечислил деньги на счет «АнтиСПИД»:
Ганс-Гелмут Фогл (ФРГ), О. В. Ш. (Архангельск), Наталия Каирец (ФРГ), Э. Маркштайн (Вена), Маргарита и Михаил Когут (США), Леонид Певзнер (Нью-Хэмпшир, США), Иосиф Кац (Лос-Анджелес), В. К. Хрущов (Лос-Анджелес), д-р П. Чандра (ФРГ), коллектив Воронежского педагогического техникума, А. В. Григорьев (Москва), М. Л. Шик (Москва), И. Т. Расс (Москва), Е. В. Карамышева (Москва), Т. С. Саамова (Казань), С. Д. Мешкова (Одесса), Д. П. Неклюдов (Ленинград), В. В. Погораздов (Саратов), С. А. Герасимов (Ростов-на-Дону), К. В. Тарнавский (Одесса), И. Г. Вексель (Москва), В. И. Мальковский (Москва), А. Ю. Лапидус (Москва), А. А. Кожинский (Москва), И. А. Жосан (Москва), П. М. Юрицкий (Харьков), Грелер Х. (ФРГ), Хильдегард Книпп (Дюссельдорф), В. А. Пашковский (Мурманск), сотрудники Московского народного банка, Елена Бильчинская (Милан), Т. М. Мишунина (Киев), О. Ф. Мец (Мурманская обл.), В. Я. Кононенко (Киев), А. Н. Светланова (Уфа), Г. Малинкович (Мюнхен), В. И. Карпов (Москва), Б. И. Вайнштейн (Ленинград), Людмила Дик (Франкфурт), Е. Л. Ивченко (Ленинград), В. В. Захаров (Моск. обл.).

Друзья! Ваши деньги в самое ближайшее время начнут «работать» против СПИДа — пойдут на закупку производственных линий, производящих одноразовые шприцы и другие одноразовые медицинские изделия.
P. S. Только что в редакции раздался звонок: Андрей Дмитриевич Сахаров привез из Японии в подарок нашему Фонду 30 тысяч одноразовых шприцев. Андрей Дмитриевич их купил на гонорары от своих выступлений. Поликлиника японской газеты «Иомиури» присоединилась к дару — еще 400 одноразовых шприцев.
Мы решили направить шприцы, подаренные академиком Сахаровым, в детскую городскую клиническую больницу № 1 г. Горького.

А. АЛОВА,
координатор Фонда «ОГОНЕК» — «АнтиСПИД»

НА ПЕРЕПРАВЕ



Мышкинская переправа на Волге. Одна из многих российских. Такая же древняя, как городок, давший ей имя. С тех незапамятных времен, когда некий князь в честь скромной норушки, спасшей его от ядовитой змеи, основал на волжском левобережье город Мышкин. Все изменилось здесь хотя многое, увы, не к лучшему, и только переправа постоянна в своей простой и такой необходимой службе.

Весь и прогресс, что не лодки снуют между берегами, а паром, на котором не только пешего и конного, КАМАЗы с прицепами перевозить можно. С первой весенней воды до белых мух длится навигация. Терпят переправщики и проливные дожди, и зной, и холод — крыша над паромом, как и встарь,— небо.

На реке свой язык: рейс от берега до берега здесь называется перевалом. На мышкинской переправе, где ширина Волги — 800 метров, перевал длится 10—12 минут. Правда, если беда какая случится — пожар, болезнь, стихия взбунтуется — можно поднажать на дизеля.

Рекорд в 8 минут был установлен как раз в одной из таких экстремальных ситуаций и пока не перекрыт.

На пароме посменно работают три капитана, три кассира и три матроса. Капитаны и матросы с пассажирами, как правило, прямых контактов не имеют, у них заботы машинные. Полпреды переправы — кассиры. Их допотопные брезентовые сумки, увешанные билетными катушками, своеобразная эмблема парома. Известность кассиров сравнима только с известностью столичных примадонн. В этом есть свои неудобства и свои выгоды, во всяком случае самая свежая, самая интересная информация у них.

А на пароме можно узнать многое, даже мой скромный однодневный опыт подтверждение тому. Старушка, переправлявшаяся с огромной корзиной черники, всего за один перевал научила меня печь сладкие пироги и консервировать любое количество ягод... без сахара. По нынешним временам наука бесценная. На обратном перевале рыжеволосая, зеленоглазая, белозубая Катерина, следующая к бабушке в деревню, популярно разъяснила, чем большой город лучше маленького. Оказывается, в большом больше мороженого.

За десять минут ветеран колхозного труда Дарья Семеновна рассказала мне свою жизнь — как эвакуировалась молоденькой девчонкой в Мышкин из Уфы, как схоронила здесь мать, как замуж вышла, как к деревенской работе привыкала, как, овдовев, двух дочек вырастила, как нянчила пятерых внучат, сколько болезней нажила, какую пенсию получает. Одна дочка у Дарьи Семеновны живет на левом берегу, а другая на правом. Вот и ездит старушка то к одной, то к другой — определяется, у кого умирать спокойней будет. А выбирать трудно — жизнь что справа, что слева одинаковая.

Кого только не встретишь на переправе: новобранцев и молодоженов, археологов и столичных командированных, священнослужителей в рясах, девушек в шортах — «а-ля Сабрина»

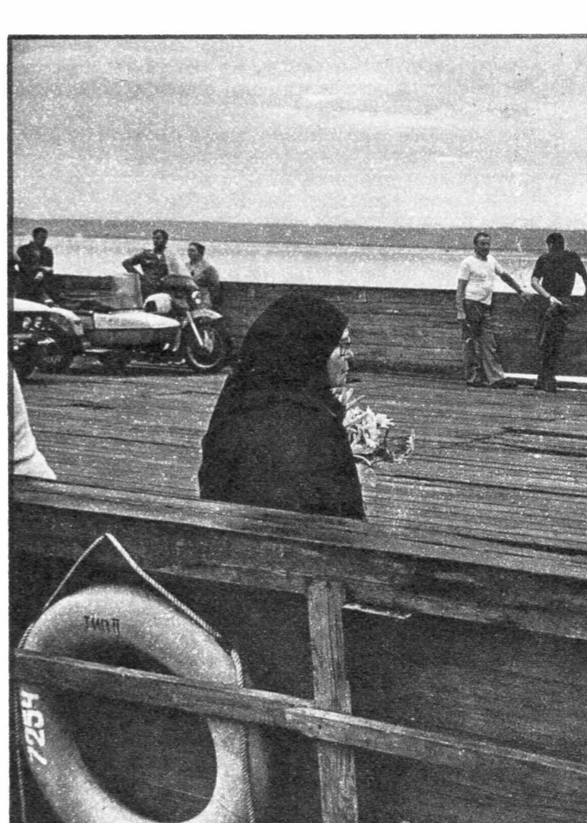
и шоферов-дальнобойщиков, исколесивших на своих зверовидных автотяжеловесах полстраны... всем им нужно на свой берег.

До ста тысяч зарабатывает за навигацию старенький паром, который, по мнению всех трех капитанов, давно уже пора отправить своим ходом в череповецкие мартены. При самом приблизительном раскладе половина этих денег — чистый доход, но кто его тратит и на что — для паромной команды загадка. А переправа ветшает день ото дня — такой пока получается хозрасчет...

...Странное чувство испытываешь, провожая взглядом удаляющийся паром. Кажется, что его дощатая палуба поменялась местами с береговой твердью и это не он, а ты плывешь, не зная еще, к какому берегу править, что там ждет и как долог будет перевал.

Яна НИКИТИНА
Павел КРИВЦОВ (фото)











ФИЛИПП АНДРЕЕВИЧ МАЛЯВИН



(1869—1940)

Развитие искусства бывает спокойно-медлительным, последовательным, так сказать, линейным. Соответственно и личные судьбы отдельных мастеров более или менее строго укладываются в эту схему. Но случается, что какая-то властная, загадочная сила овладевает художником и помимо его воли и сложившихся привычек влечет к совершенно неожиданным находкам, которые оказываются новым словом в творчестве. И лишь постепенно обнаруживается, что такое вот «землетрясение» готовилось исподволь, было по-своему закономерным и выразило некие затаенные черты и свойства своей эпохи.

Начало XX века в русском искусстве было щедрым на эпизоды такого характера. Среди них — творческая история Филиппа Андреевича Малявина, точнее сказать, один период его достаточно долгой биографии, который и определяет особое и своеобразное место этого мастера в истории отечественной живописи нашего века.

Филипп Малявин родом из крестьян Самарской губернии; жизнь, быт, традиции русского села составили самую основу его душевного опыта, памяти, чувств. Но понадобилось особое соединение этого опыта с теми тенденциями национального самопознания, которые так свойственны русскому обществу в начале XX века, чтобы сложилась и со всей силой расцвела поразительная стихия малявинской живописи. В чем-то она, несомненно, сомкнулась и с зарождавшимися в эту пору стилевыми устремлениями нового свойства.

«Линия жизни» Малявина не была особенно сложной и извилистой. Послушник-иконописец Афонского монастыря, в сущности, самоучка, он, однако, без особых трудностей поступил в Академию художеств. Там наиболее важными для него оказались занятия в мастерской И. Е. Репина. Для воспитанника этой мастерской естественно увлечение портретом. В этом жанре Малявин очень рано становится мастером-виртуозом. Еще в академических стенах он пишет своих молодых коллег, впоследствии прославленных художников — И. Э. Грабаря, К. А. Сомова, А. П. Остроумову-Лебедеву. Точность сходства, острота характеристик, отточенный артистизм исполнения этих картин поразительны для художника, только-только начавшего свой путь в искусстве. Скажем, в «Грабаре» прекрасно схвачены и живость ума, и искрящаяся во взгляде ирония, и свободная небрежность позы; в «Сомове» — лирическая созерцательность, в «Остроумовой» — тонкость духовной реакции на окружающее.

Все это так, но и в названных, и в иных портретных работах Малявина предстает всего лишь «еще один» добротный мастер этого жанра. Он мог бы пополнить перечень видных русских портретистов своего времени, работавших в достаточно традиционной «музейной» манере с некоторым воздействием импрессионистических приемов и живописи «модерна». Но и только. Принципиальных открытий эти работы — очень качественные и мастеровитые — не содержали.

Новое у Малявина проявилось в иной сфере. Причем не сразу. Его портреты еще с академических лет впитали в себя на высшем уровне давние, устоявшиеся традиции. И от этих традиций ничуть не отошли. А вот изображения крестьян, портретные и жанровые, раз от разу менялись в неожиданном направлении. Такие картины, как «За книгой» (1895), «Портрет старухи» (1898), и некоторые иные, близкие им, выдержаны в традициях передвижнического жанра — темная, тусклая живопись, отягощенные нелегкой жизнью характеры. Но вот в ряду подобных полотен появляется «Крестьянская девушка с чулком» (1895), тоже еще достаточно традиционная и скованная, но с каким-то пробивающимся чувством радостного напора жизни, которое сразу же высветляет палитру, вносит в полотна играющие солнечные краски.

Это, однако, еще только предчувствие чего-то нового — рамки предшествующих традиций не разбиты. Поэтому картину при ее появлении встретили спокойно, ее покровительственно одобрили авторитеты.

Но вот разразилась шумная, в чем-то даже скандальная история, связанная с конкурсной работой Малявина, который на исходе века, в 1899 году, заканчивал Академию художеств. Совету Академии молодой выпускник представил группу портретов и большую композицию «Смех». Протокол отметил портреты, присудив за них звание художника, а о композиции просто умолчал. Хотя в печати о ней было только и разговору. Чем же поразила эта картина и почему с такой опасливой осторожностью ее обошли вниманием академические лидеры?

В отличие от большинства выпускных произведений с обстоятельными, подробно трактованными сюжетами Малявин изобразил всего-навсего группу хохочущих крестьянок, которые быстрым, вольным шагом, даже слегка пританцовывая, идут по полдневному, напоенному солнечными лучами полю. Необычной для Академии была по тем временам уже и непринужденная жизненность сцены. Но совсем поразительной казалась по своей манере живопись, взятая широкими мазками, вольная до небрежности, абсолютно далекая от традиционной гладкописи. Это был взрыв! Краски здесь полны напряженного, искрящегося сверкания, все пронизано резким светом, мазки фона положены как бы взахлеб, словно они повторяют вольные движения быстро идущих босоногих крестьянок и разделяют их безграничное, безудержное упоение жизнью.

Ничего похожего русская живопись до той поры не знала — встречались пленэрные вещи, известная свобода письма, но чтобы так дерзко, так смело нарушать благолепие формы, так легко и небрежно смазывать четкие объемы, добиваясь предельной живописной энергии,— этого еще не бывало. Как не встречалось и такой праздничной увлеченности жизнью, несдержанности чувств, сверкающего, игрового, переходящего всякие границы «умеренности» веселья.

Самое любопытное, что такой живописный строй был в чем-то неожиданным и для самого автора. Ведь его учили иначе, сам он в первых своих самостоятельных произведениях работал в совершенно другом стилистическом ключе. Чтобы отыскать объяснение, надо вспомнить, что как раз на рубеже XX века в русском искусстве, шире того — в русской культуре происходило возрождение национально-стилистических основ и истоков, причем зачастую в самых старинных их формах, смыкавшихся иногда с язычеством. От них ведут свою генеалогию некоторые изделия абрамцевской мастерской, чуть позже — деревянные скульптуры С. Коненкова, древнеславянские мотивы «Яри» С. Городецкого, некоторых произведений А. Блока.

Но в отличие, скажем, от Коненкова Малявин не стилизует своих крестьянок в духе «лесных преданий», каких-нибудь ведьм, русалок, леших. Его персонажи таковы, какие встречались в любом русском селе. Но толпа в «Смехе» — это такая разгулявшаяся вольница, такое бурное и несдержанное проявление чувств, которые полностью прорывают обычные настроения и приемы жанрово-повествовательных изображений народа, обращаясь к чему-то забытому, к векам дремавшей стихии древних народных игрищ и празднеств.

То, что так удивительно и бурно прорвалось в «Смехе», затем на время как-то замирает в крестьянских картинах Малявина, давая себя знать лишь в отдельных, преимущественно декоративных частностях,— правда, чрезвычайно интересных и неожиданно смыкающихся с находками и тенденциями «левого» искусства России начала XX века. Почти во всех этих полотнах есть известное противоречие: лица обязательно выписаны с академической строгостью, их выражение вполне определенно и как-то однозначно: задумчивость, улыбка, настороженность, иногда даже подозрительность («Крестьянка в красном платье», 1900-е годы). Но то, как изображаются наряды, входит в совершенное противоречие с этой традиционной и достаточно ограниченной психологичностью. Вот «Девка» 1903 года. Слегка запрокинутая голова, спокойно наблюдающий взгляд, рука, зажимающая рот, будто сдерживающая смешок. Достаточно обычный, даже несколько сдержанный портретный образ. Но он «всажен» в поразительное декоративное обрамление! Платок с красными лентами развевается по воздуху, будто он оказался под напором резкого ветра. А водопадом низвергающееся платье состоит из сотен острых цветовых вспышек и, в сущности, оказывается каким-то отдельным красочным массивом. В нем и огонь, и радость, и буйство несдержанных чувств. Художник в этом случае — как бы такое утверждение ни показалось странным — на мой взгляд, бессознательно приблизился к «свободным», отвлеченным от конкретных объектов и предметов цветовым построениям, которые вскоре будут создавать русские «левые». Какой-то инстинктивной стороной своего дарования Малявин предчувствовал такие концепции. А может быть, даже раскрыл жизненную природу таких находок своих более младших коллег, которые в поисках высшей духовности изображения опирались на систему пластических, световых, колористических ассоциаций. И эти ассоциации, в каком бы очевидном отвлечении от сюжетных мотивов они ни находились, смыкаются с национальной эстетикой, с коренной природой русского национального жизневосприятия.

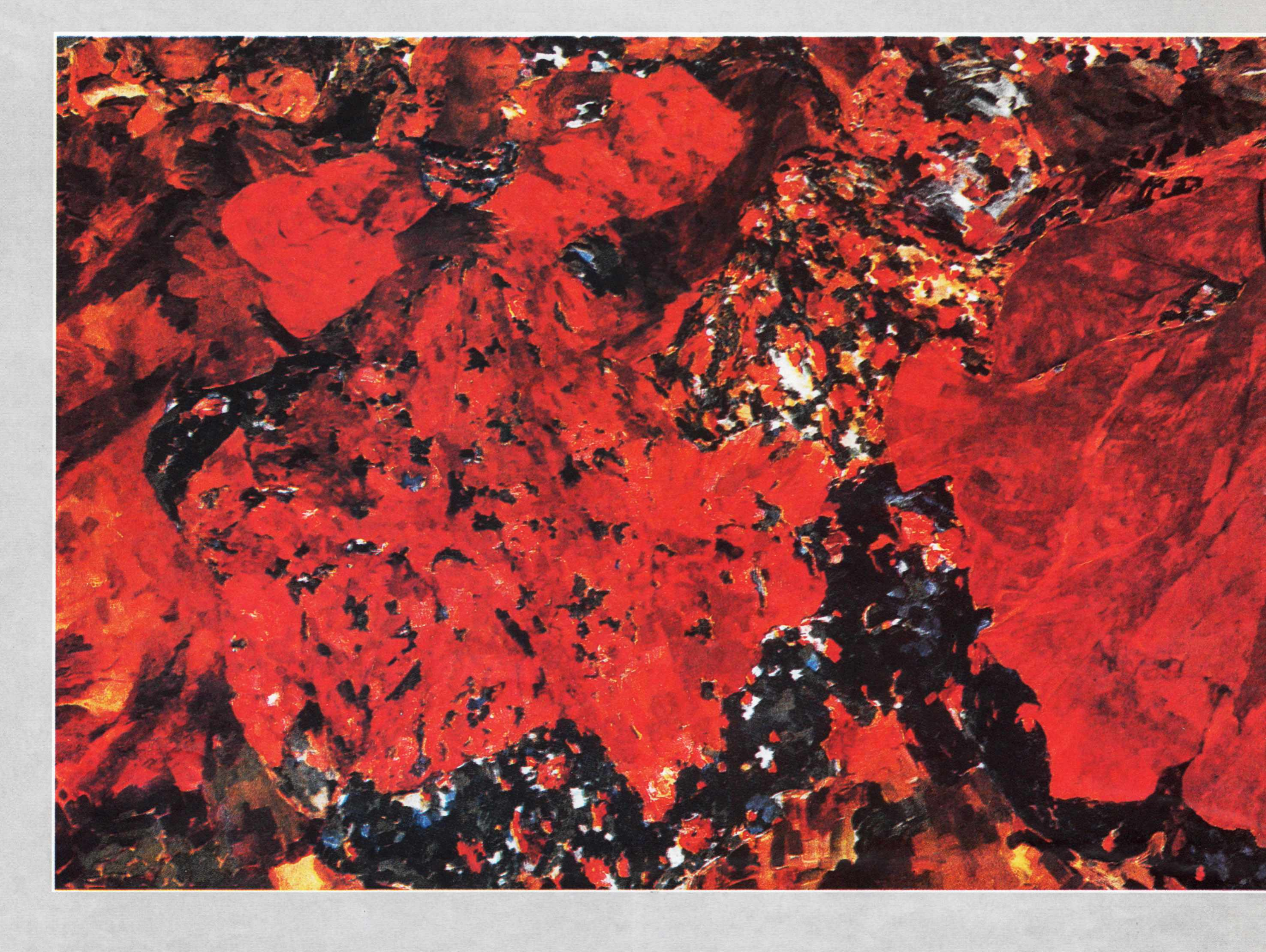
Такая «раздельность» аккуратно, точно выписанных лиц и совершенно не связанных с ними смелых и буйных цветовых мотивов встречается в длинной серии малявинских «Баб» девятисотых годов. Среди них — «Баба в желтом», «Крестьянки», «Пляшущая баба» и другие. И в «Девке», и в «Крестьянках», и в «Пляшущей бабе», и в других полотнах этого ряда

КРЕСТЬЯНСКАЯ ДЕВУШКА С ЧУЛКОМ. 1895.





ПОРТРЕТ И. Э. ГРАБАРЯ. 1895.



стремительное движение красочной поверхности полностью отстранено от конкретно-повествовательного назначения. Цветовое напряжение и ритмические перепады тут никак не соответствуют мирной беседе женщин («Крестьянки») или несложному танцевальному движению «Пляшущей бабы». Материя красок одухотворена в картине чем-то гораздо более значительным и важным, чем эти малозначительные сюжеты, создает ощущение особого, ослепляющего своей красочной силой образа.

На протяжении начала 1900-х годов художник многократно совмещал в своих произведениях столь разные начала — спокойно-повествовательный рассказ и безбрежную цветоносность. Но в одном случае они органично соединились, дав поразительный по силе результат.

Речь идет о классической картине Ф. А. Малявина «Вихрь» (1906). Нет нужды пересказывать ее фабулу, тем более что картину нелегко «прочесть». Ее отдельные сюжетные элементы как бы спрятаны в перепадах изображения и лишь постепенно, как бы мелькая, проступают из ее феерической плоскости. Это, кстати сказать, очень важный момент — плоскостность композиции. Она вся выложена на первом плане. Фактическое отсутствие глубины подчеркивает абсолютно условный принцип построения. Картина не воссоздает определенную жизненную сцену, а дает ее общее ощущение и переживание.

Прежде всего видишь не лица, не фигуры, не какие-то действия и поступки, а порывистые всплески красок, которые то пятнами, то мазками проступают из сложного колористического сплетения. Потом постепенно догадываешься, что эти вихри, эти пылающие и волнующиеся массивы красного, зеленого, желтого — одежды крестьянок, которые идут по полю навстречу резкому ветру. Поскольку объемы у фигур отсутствуют и заметны лишь выступающие из красочного потока лица (да и те полностью включены в декоративную игру полотна), характерного для всех предыдущих картин разрыва между людскими изображениями и общим цветовым строем тут нет. У полотна в силу такой особенности образуется единая и целостная образно-цветовая мелодия с огромным множеством оттенков, ибо колорит в «Вихре» то вспыхивает яростным костром, то замирает, то вздымается в разметанных ветром тканях, то опадает в обочинах композиции.

Впечатления от «Вихря» многозначны. Конечно, не избежать параллелей с тем, что происходило в стране, когда создавалась картина. В том же 1906 году — дата создания «Вихря» — Андрей Белый писал: «События у нас в России закипают с быстротой. Вся Россия в огне. Этот огонь заливает все. И тревоги души, личные печали сливаются с горем народным в один к р а с н ы й у ж а с». Такое жизневосприятие, бесспорно, откликнулось и в «Вихре». Весьма плоско видеть в нем одни лишь гуляющие по ветру разноцветные сарафаны, хороводное веселье. Что-то мятежное, разрушающее все берега, способное на неслыханные дерзости и даже жестокость, есть в этом бешеном взрыве красок и форм. Недаром современнику создания «Вихря» критику Сергею Глаголю чудился в картине «какой-то отблеск пожаров, красный петух и запах крови, залившей русскую народную историю». Надо же понять, что художник не только и не столько чинные академические правила нарушал, он взрывал установившийся жизнепорядок, спокойную, неизменную иерархию объемов, форм, цветостроения. В этом суть. Поэтому сравнения «Вихря» с революцией 1905 года одновременно и обоснованны, и недостаточны. По-своему откликаясь на реальные политические события своей эпохи, картина Малявина в чем-то шире их и не сводится к одной лишь, пусть весьма существенной, социальной программе. Ведь на крутых исторических поворотах всегда дают себя знать и сокровенные черты народного характера, которым разворот событий дает возможность раскрыться и проявиться. В любом русском мятеже есть своя безбрежность.

А все же при своих несомненных грозных и мятежных оттенках «Вихрь» Ф. Малявина — картина ярко праздничная. Во всех этих бушующих, плящущих потоках цвета, в клокотании жизненной энергии живет идущая из фольклорных глубин радость бытия, неотрывно сплетенная с особым чувством цвета, ритма, декоративности. В этом плане «Вихрь» Малявина — произведение подлинно символическое. Оно может рассматриваться как один из самых характерных образцов русской живописной школы на всем ее пути в XX веке.

«Вихрь» произвел на современников огромное впечатление. Малявин стал знаменитостью. И даже более чем осторожная и сдержанная Академия художеств признала этот успех и избрала живописца в число своих членов.

Ф. А. Малявину было в это время 37 лет. Он прожил еще долгую жизнь, в России и за рубежом, написал немало мастерских полотен — и бесконечные варианты «Баб», и портреты, и работы несколько иных жанровых оттенков, среди которых особо следует отметить документально ценные наброски с В. И. Ленина.

Но ничего даже отдаленно близкого по своему значению к «Вихрю» он за последующие десятилетия не создал. «Вихрь» навсегда вошел в число шедевров русского изобразительного искусства.

Александр КАМЕНСКИЙ



ВИХРЬ. 1906.



КРЕСТЬЯНКИ. 1904.

СМЕХ. 1899.

ДЕВКА. 1903.





БАБА. 1900-е гг.

Спрятанная война

Артем БОРОВИК

II

Застава утопала среди снегов Саланга, в седловине между клыками гор, невидимые пики которых растворялись в темноте. Гул КамАЗов, тянувшихся на север, сник, и я почувствовал, как на землю плавно опускается тишина. В небе неподвижно висели осветительные бомбы, издали напоминавшие светлячков.

Застава была по-военному чумаза и грязна, и когда я открыл скрипучую дверь, на меня пахнуло сладковатой сыростью. В углу темного коридора трещала рация. Близ нее на табурете сидел дневальный. Он грел черные от копоти ладони над консервной банкой горящей солярки. Тени и блики света гонялись друг за другом по стенам коридора.

— Вам кого? — спросил дневальный, подняв на меня воспаленные глаза.

— Кого-нибудь из офицеров,— ответил я.

— Комбат Ушаков вон там — за дверью.— Дневальный пошевелил над огнем промерзшими пальцами.

В этот момент распахнулась дверь, и я увидел человека средних лет — рычагастого, тощего, с измученным лицом. От всей его громадной, чуть сутулой фигуры, от впалых щек, ранних морщин, от глаз с желтоватыми белками веяло многомесячной хронической усталостью.

— У-у-ушаков,— заикаясь, сказал он.

Я назвался и сказал, что ищу место для ночлега.

— Милости п-п-прошу.— Он слегка посторонился и дал мне пройти в комнату.

— Так вы тот самый знаменитый Ушаков? — спросил я, усаживаясь на скрипучую койку.

— Знаменитый-незнаменитый, н-но Ушаков,— ответил он и присел на противоположную койку.— А вы тот самый журналист, который опозорил десантников?

— В каком смысле? — не понял я.

— В п-прямом.— Он подбросил несколько лучинок в «буржуйку», шипевшую рядом.— Ведь это вы описали засадные действия, в которых участвовали джелалабадские десантники, обутые не в горные ботинки, как полагается, а в кроссовки.

Я сразу же вспомнил разгневанное письмо одного майора из Рухи, полученное мною год назад в Москве. Когда я вскрыл конверт, оттуда пахнуло гарью, порохом, войной.

— Ваше письмо было самым злым из всей почты, которую я получил после публикации повести про Афганистан. Тогда вы были еще майором. Поздравляю с очередной звездочкой. Честно говоря, я не очень понял вашу критику. Ведь кроссовки, пакистанские спальники, духовские фляги — все это было правдой.

— Я вам вот что скажу.— Ушаков ударил ладонью по табурету.— У нормального командира солдаты одеты по уставу, а вы показали банду расхлебаев, нацепивших на себя все трофейное барахло. Ведь это же стыд и с-срам!

— Конечно, стыд и срам,— ответил я.

— Но вы этим срамом в-в-восторгались! — Ушаков разволновался и никак не мог прикурить сигарету.

— Вам померещилось,— сказал я и подумал: «Ну и влип же я. Теперь придется всю ночь выслушивать нравоучения».

Ушаков взял со стола гребень, расчесал рыжие усы, а затем по-гусарски подкрутил их кончики. Эта процедура чуть успокоила его.

— В армии и так полно разного дерьма.— Он выпустил изо рта струю дыма.— И н-нечего его пропагандировать... Ладно, не берите в голову. Это я так. Кто старое п-помянет...

Он глубоко затянулся, а когда выдохнул, я не увидел дыма.

— Есть хотите? П-проголодались, небось, с дороги. Сейчас сварганим что-нибудь.— Он встал, хрустнул суставами затекших ног и скрылся за дверью.

...Батальон Ушакова прибыл из Рухи на Саланг в сентябре 88-го. Он входил в состав полка, который потом стал известен как «рухинский». Полк был одним из самых боевых в Афганистане. На его долю выпало немало тяжелейших сражений и еще больше обстрелов. Передислокация на Саланг, где в последние месяцы войны было относительно спокойно, казалась мотострелкам лирическим отступлением после Рухи. Местечко это имело славу самой гиблой и опасной точки в стране. Даже полет туда и обратно воспринимался иными штабистами как геройство. Ушаков вместе с однополчанами провоевал там два года.

Прибыв на южные подступы к перевалу, батальон занял пять застав вдоль дороги Кабул — Саланг и выставил три выносных поста в горах. Сам Ушаков расположился на пятьдесят третьей, где стояла минометная батарея двадцатичетырехлетнего старшего лейтенанта Юры Климова.

Так что с сентября 88-го оба комбата жили вместе. Ушаковскому батальону была определена зона ответственности в двадцать километров — вплоть до 42-й заставы, которую занимали десантники-востротинцы [1].

— Я и сам люто есть х-хочу,— сказал выросший в дверном проеме Ушаков.

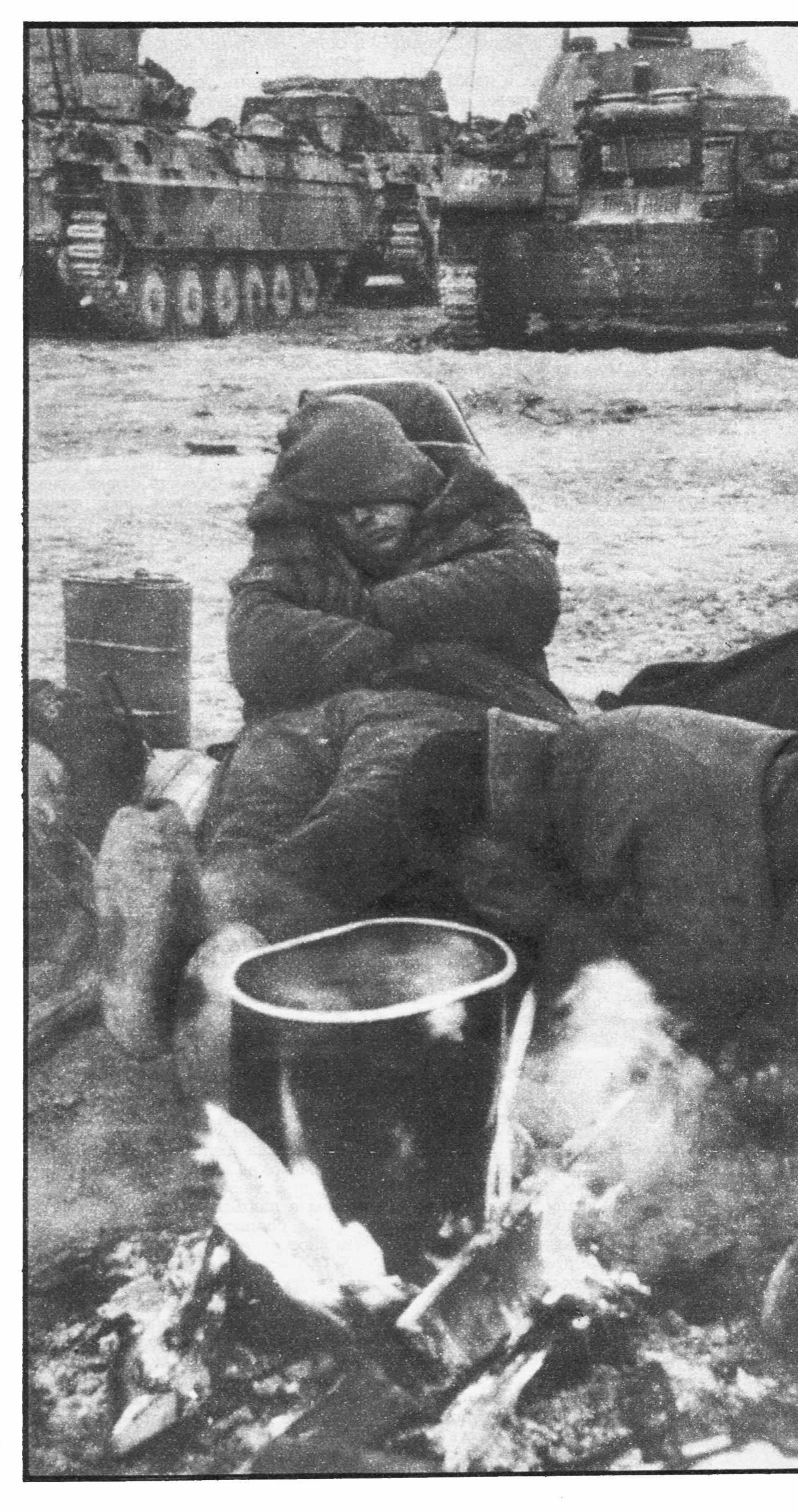
В его правой руке шипела сковородка, брызгаясь во все стороны обжигающим свиным жиром.— Харчи под завязку войны у нас маленько оскудели. Потребляем остатки запасов: т-тушенка, консервированная картошка, репчатый лук, рис да сгущенка. Но, главное, солдат сыт и обут. Недавно духи подарили б-барана. Наш повар-узбек мастерски разделал его. Так что иногда мы и попировать горазды. Накладывайте себе побольше. Это — ужин. Сегодня нам больше не светит ничего.

Ушаков прикрыл глаза, вдохнул сизый пар, поднимавшийся от скороводы, улыбнулся и отвалил мне в миску царскую порцию.

Я внимательно посмотрел на него: чем-то он походил на страну, в которой родился: огромный, доверчивый, не помнящий обид, веселый и грустный одновременно. Хорошие у него были глаза: он как бы хмуро сиял ими. Порой невидимая волна пробегала по его лицу и оно становилось печальным, но все-таки чаще светилось неясной улыбкой. Голос был глуховат, насквозь прокурен. Красно-коричневая кожа обтягивала скуластое лицо. И хотя шел ему лишь тридцать седьмой год, сквозь поредевшие светлые волосы просвечивали по бокам высокого, с сильными надбровьями лба бледные залысины. Всем своим обликом Ушаков напоминал усатых русских солдат на полотнах, посвященных баталиям 1812 года.

Когда я разговаривал с ним, мне казалось, что он родился, уже зная то, чему сам я выучился гораздо позже по книгам. И хотя с самого начала он дал мне понять, что журналистов не очень-то любит, все равно я разглядел, вернее, почувствовал в нем сквозь эту неприязнь редкую на войне доброту человека к незнакомому человеку.

— Б-беден тот,— сказал Ушаков, бросив в кружку пару кусков сахара,— кто видит снег только белым, море синим, а траву зеленой. Весь смысл жизни в сочетании и смешении цветов. И журналист это тоже должен понимать. Иначе про эту в-войну писать нельзя. Иначе — фальшь и ложь... Сколько мне приходилось читать о сражениях, которых и в помине не было, а о реальных битвах — молчок. Сколько трусов мы провозгласили героями,



[1] Полковник Валерий Востротин — командир полка, Герой Советского Союза.

а и впрямь храбро воевавших людей газеты игнорировали. «Чижик»[2] ходит весь в орденах, а солдат...

Ушаков махнул рукой, и через мгновение язык пламени в печке метнулся в сторону.

— Вот случай был.— Комбат поставил вылизанную хлебом сковородку на пол.— На заставе. Пошел один боец в кусты по ну-нужде. В тот миг ударила безоткатка, и заставу накрыло. Все погибли. Но тот, в кустах, выжил. Случай был подан позже наверх так, будто парень один отстреливался в окружении и победил.

— И что же? — спросил я.

— Героем сделали. Другой эпизод. Ротный вез на БТРе проверяющего из Союза. Подъехали к пе-персиковой роще. Проверяющий сказал: «Эх, вот бы персиков набрать домой!» Ротный оказался смышленым: остановил машину, спрыгнул, но неудачно — на мину. Оторвало обе ноги. Проверяющий, чувствуя свою вину, сделал все, чтобы ротного представили к Герою... Ты не думай, я не з-завидую. Боже меня упаси. Я п-просто хочу сказать, что Герой Советского Союза — это святое. Понял меня?

Я кивнул.

За окном рычал дизельный движок, качая на заставу электричество. Где-то в горах ухнула гаубица Д-30: оконное стекло всосало в комнату, потом опять отпустило. Над крышей пронеслась мина, завывая, словно певица в периферийной опере.

— Знаешь, как в Союзе определять — кто действительно воевал т-тут, а кто по штабам прятался? — вдруг спросил Ушаков.

Он снял с печи чайник, плеснул кипяток в кружки и сам же ответил на поставленный вопрос:

— Кто девкам заливает м-мозги про свои подвиги по самую ватерлинию, тот и свиста пули не слыхал. Настоящий ветеран будет помалкивать о войне. Эй, дневальный, поди сюда!

Открылась дверь, и на пороге появился солдат в замызганном бушлате. К парню прочно приклеилась кличка Челентано. Иначе никто на заставе его не звал.

— Солдат,— Ушаков протянул ему чайник,— принеси-ка нам еще воды.

Челентано исчез, не сказав ни единого слова: он был узбеком и по-русски говорил хуже афганца.

— В одной из моих рот,— Ушаков улыбнулся,— узбеки решили сколотить свою мафию и начали терроризировать русское меньшинство. Ну, я был вынужден продемонстрировать им ответный русский террор. Я этих дел не люблю.

За окном раздалась глухая очередь из АК.

— Какой-нибудь часовой,— прокомментировал Ушаков,— разрядил магазин в собственную тень. Ничего — бывает. Воевать осталось четыре недели: н-нервы, н-не выдерживают.

Он поглядел на часы. Почесал затылок и предложил:

— Уже ча-час ночи. Может, соснем чуток? Возражений нет?

Я отрицательно покачал головой.

— Добро. Значит — спать,— сказал он и с крёхтом повалился на койку.— Я не раздеваюсь: за ночь двадцать р-раз успеют поднять. Замаешься натягивать форму. Тебе тоже не советую.

Я сбросил горные ботинки и вытянулся на своей койке. Она что-то промурлыкала подо мной.

— Ты н-не обращай внимания,— предупредил комбат,— если я во сне буду материться. М-можешь меня разбудить, когда начну крыть всех и вся десятиэтажным...

Я улыбнулся в ответ и выключил свет.

Громыхая сапогами, в комнату вошел дневальный и поставил на печь чайник. Мокрое его днище умиротворенно зашипело.

— Не забудь,— Ушаков отодрал от подушки голову и поглядел на солдата,— подбросить через час углей в огонь. Не то мы корреспондента заморозим. Давай, ступай к себе.

Ушаков опять уронил голову на подушку. Минут через пять я услышал спокойное дыхание комбата. Охристый огонь едва освещал его лицо, и было заметно, что он дремлет с полузакрытыми, заведенными вверх глазами. Из-под век поблескивала нездоровая желтизна белков. На разгладившемся лбу лежала мокрая от пота прядь волос.

Ушаков получил подполковника совсем недавно, хотя документы послали досрочно — еще два года назад. Дело было в Рухе: один из его новеньких лейтенантов самовольно поехал менять БМП на блоке и подорвался на мине, потому что по неопытности решил обойтись без саперов. После этого Ушакову завернули представление и на орден, и на звание.

Звонки полевого телефона вернули меня из прошлого в настоящее. Прежде чем я успел разомкнуть отяжелевшие за день веки, Ушаков уже кричал в трубку своим глухим басом:

— Алло, «Перевал»! Алло, «Перевал»! Как слышишь?.. «Перевал», дай мне «Курьера»!.. Да!.. Н-на т-трассе никаких происшествий! В-все идет нормально!

Через мгновение он устало бросил трубку на рычаг и прошептал:

— Вот так целую ночь...

— Но ведь все равно легче, чем в Рухе?

— В каком-то смысле, конечно, легче. Правда, тут не знаешь, чего ждать. Боюсь, в последние дни здесь, на Саланге, фирменная вешалка начнется. Наверняка духи будут бить нам в хвост... Вся охота спа-пать пропала... В Рухе они обстреливали нас почти каждый день. Начальники летать к нам боялись. А когда все-таки наведывались, ничем хорошим это не кончалось. Уезжали обратно з-злющими-презлющими. Во-первых, потому что машин мы им не давали: каждая была задействована. Водки и бакшиш[3] — тоже не давали. Ведь непосредственного контакта с дуканщиками у нас не было. Кроме того, мы установили сухой закон. Вот из-за этого начальство уезжало недовольным и полк был на плохом счету. А наш командир, человек по-порядочный, честный, на партсобраниях постоять за себя не умел. Или не х-хотел. Я ему всегда шептал на ухо: «Давай, к-командир, на амбразуру!» А он вечно сидит, отмалчивается. Так что приходилось мне лаяться с начальниками.

— Не боялись? — скорее подумал, чем спросил я.

— А чего мне их бояться? — угадал мой вопрос комбат.— Я считаю, нормальному, здоровому человеку вообще нечего бояться. Вот уволят меня из армии — пойду уголь добывать. И заработаю, кстати, больше. Мои руки везде пригодятся... П-предки наши, не имея ничего, вона какую одну шестую оседлали. Мне друзья говорят: «Не сносить тебе, Ушаков, г-головы!» А я отвечаю: «М-меньше взвода не дадут, дальше Кушки не пошлют».

— Но ведь послали?

— Да, послали,— тихо засмеялся Ушаков.— Ну, т-так дальше Афгана не пошлют... Настоящий армейский трудяга всегда в тени, а по-по... донок, умеющий звонко щелкнуть каблуками, генерала в задницу поцеловать, а потом облизнуться,— этот бойко скачет вверх. Ста-тарая история...

Ушаков подошел к «буржуйке», бросил ей в огненную пасть несколько углей и щепок. Сырое дерево уютно зашипело, и через пару минут в комнате стало светлей. Ушаков выпрямился на длинных тощих ногах и, морщиня блестевший лоб, направился в свой угол.

— Какая ни есть армия,— Ушаков сел, упершись острыми локтями в узкие колени,— а я, видно, по своей воле ее не брошу. Хотя, конечно, много всякой чепухи... Служил тут у нас командиром отдельного реактивного дивизиона армейского подчинения один неплохой человек — мужик он б-был крутой, п-принципиальный. И дорого она ему обходилась — принципиальность-то. А у его предшественника карьера шла как по маслу, тот все умел — и хорошенько баньку растопить, и девочек вовремя организовать, и бакшиш ненавязчиво подсунуть какому-нибудь начальничку. Даже самому захудалому. Ну, а тот, про кого я т-толкую, всего этого не умел. Не желал. Он, бывало, возмущался: «Товарищи начальники, на какие шиши я вам водку ставить б-буду?! Своих д-денег мне жалко — в Союзе осталась семья. А воровать не буду. Не заставляйте». Словом, начались у него проверки, неприятности, пятое-десятое: съели его. Пришел он ко мне с понижением — заместителем по вооружению... Мой зам. по тылу тоже ссыльный. Раньше с-служил в одном из придворных полков, но честность, как говорят французы, фраера сгубила: п-получил пинок под зад и оказался у меня.

Я глянул на комбата: глаза его лихорадочно, словно в горячке, сверкали. Казалось, они-то и освещали комнатку. Левая бровь изогнулась крутой дугой и мелко дрожала. Ушаков облизнул пересохшие белесые губы.

— Чуть южнее,— сказал он,— служит комбат А... Ни одной зарплаты не получил: все переводит в Союз на счет «Б». Но тут отоварился капитально. К-как? Да очень п-просто. Списывал имущество как боевые потери, а сам продавал Басиру[4]. Печально все это. С-солдат видит такое и тут же пример берет. А начнешь со всем этим воевать, скажут: сумасшедший — в психушку его! Я там уже насиделся. Больше н-нет охоты.

...Первый раз подполковник Ушаков угодил в армейскую психиатрическую клинику в апреле 71-го, когда учился в киевском ВОКУ (18 суток), второй раз — в мае 83-го, когда служил на Кубе (10 суток). Третий раз — в ноябре — декабре 85-го года в Калининграде (47 суток). В Киеве Ушаков повздорил с преподавательницей, в двух других случаях — с начальством.

— На Кубе,— усмехнулся себе в усы Ушаков,— им не понравилась моя фраза о том, что армия должна заниматься не показухой, а делом. Я всегда считал: если в части порядок, а солдат готов отдать жизнь за Родину, значит, командир с-свое дело знает. И нечего его отвлекать идиотскими проверками. Конечно, я тогда вспылил... Ясное дело, ок-казался в дурдоме. Начали врачи выяснять мое умственное развитие: не может же нормальный человек брякнуть такое начальству! Сказали, чтобы з-заполнил анкету. Умора, честное слово,— что в ней было! Один вопрос дурней другого: например, чем отличается столичный город от периферийного? Чем отличается лошадь от трактора? Самолет — от птицы?.. Как нормальному ч-человеку ответить на них? Скажешь, лошадь ржет, а трактор урчит; птичка машет крылышками, а самолет нет,— назовут дуриком.

Оконце начало медленно светлеть, словно экран древнего телевизора после нажатия кнопки. Потом на стекле проступил легкий румянец: солнце лениво начинало свое многомиллиардное по счету восхождение на небосклон.

Левая щека комбата, обращенная к окну, тоже порозовела, а правая половина лица, отсеченная крупным приподнятым носом, была черной, как невидимая сторона Луны.

— Или,— продолжал Ушаков,— все эти вопросы типа: «Если бы у меня была нормальная половая жизнь, то...?» Я сказал комиссии: «Как мне отвечать на него, если я себя ущемленным в половом плане не чувствую и от бабы меня за уши не оторвешь?!»

— И что же врачи? — не удержался я.

— А что они? — рассмеялись и отпустили... Понимаешь, психушка — отличный способ для начальства избавиться от ЧП в части.

Комбат раскрыл уже распечатанную пачку сигарет. Все они были аккуратно уложены фильтрами вниз — попытка солдата перехитрить афганскую инфекцию: в рот берешь кончик, не тронутый грязными пальцами.

— Курнем? — предложил он, подняв на меня прижмуренные в усталой улыбке глаза. Куцые, выжженные солнцем ресницы вокруг них едва приметно подрагивали.

Дверь скрипнула, чуть приоткрылась. В образовавшейся черной щели я увидел аккуратно подстриженную голову с картечинами маленьких глаз.

— Товарищ подполковник, разрешите войти?

Ушаков бросил в сторону говорившего грузный взгляд, сказал:

— Заходи, С-славк.

Это был старший лейтенант Адлюков — небольшого росточка, совсем еще мальчик. Черные волосы, слегка курчавившиеся на висках, подчеркивали бледность его девичьего лица.

— Наливай себе чай, кури, отдыхай,— глухо пробурчал Ушаков.

Адлюков только что, в пять утра, спустился с секрета «Роза». «Роза» не вышла на связь в условное время, и Славке пришлось ночью карабкаться в горы. Предварительно он дал три одиночных выстрела из АК, ожидая в ответ два одиночных, но их не последовало. Больше часа он с сапером шел вверх по глубокому снегу лишь для того, чтобы выяснить: на высокогорном посту сели аккумуляторы.

Он пристроился рядом со мной и начал снимать резиновые чулки от ОЗК[5]. Из них посыпались на дощатый пол слежавшиеся комья снега. Потом он налил в кружку горячего чаю, обнял ее ладонями и долго смотрел в остывавшую черную воду.

Адлюков потерял родителей еще в раннем детстве. Его приютила тетка, но Славка, когда подрос, вдруг почему-то закомплексовал и, не желая быть обузой-нахлебником, после восьмого класса подался в суворовское училище. Затем учился в Тбилисском артиллерийском и, наконец, оказался в Афганистане.

— Так что психушка,— Ушаков вернулся спустя десять минут к тому, на чем мы остановились,— это зачастую палочка-выручалочка для командира. К примеру, ударил солдат офицера. Его надо судить — это ведь ЧП. Но если в полку ЧП и есть осужденный, то командиру не перепрыгнуть на следующую должность. Следовательно, происшествие оформляют как сдвиг по фазе — и все. А рассуждают так: разве может нормальный солдат ударить офицера?! Нет, не может: значит, псих.

За время службы в армии Ушакову трижды предлагали поступать в академию имени Фрунзе. Но он отбрыкивался, как мог.

— Первый раз, дай Бог памяти,— он внимательно посмотрел на косой потолок, сложенный из пробитых труб, словно там была написана история его жизни,— агитировали поступать в 81-м. Я тогда был назначен начальником штаба батальона. Конечно, почетно походить на старости лет в штанах с лампасами: умрешь — на лафете тебя прокатят, отсалютуют... Но, понимаешь, у меня прикрытия сверху нет, а без него задолбит начальство и хватит инфаркт в пятьдесят лет. Так что в-выше батальона я п-прыгать не желаю. Чтобы идти дальше в гору, надо быть либо циником и не принимать ничего близко к сердцу, либо блатным. А я ни тот и ни другой.

Уже совсем рассвело. Комбат, глянув в окно, улыбнулся:

— Кончились белые ночи, начались черные дни. Кто всех главней, тот себя не жалей!

---

[2] «Чижик» — штабист.

[3] Бакшиш — подарки, подношения начальству (одно из значений).

[4] Басир — командир одного из повстанческих формирований, действовавших в районе южного Саланга.

[5] ОЗК — общевойсковой защитный комплект.

Он бросил на колени вафельное полотенце, обмакнул кисточку в кипяток и принялся взбивать пену на щеках, мурлыкая какую-то песенку.

Ушаков шумно соскребал щетину и пену со впалых щек. Перехватив мой пристальный взгляд, сказал:

— Изучаешь? Изучай...— Хлопья пены слетали с его губ.— Я — из поморов. А поморы никогда крепостными не были. Вот пересечем границу, оставлю я в расположении двух прапорщиков, что у меня на пьянке попались, а все остальные рванут в лучший термезский кабак: будем праздновать не победу, не поражение, а вывод войск... Странная была война. Входили, когда цвел застой, а выходим в эпоху бешенства правды-матки.

Ушаков начисто вытер полотенцем посвежевшее после бритья лицо. Прислушавшись к громким шагам в коридоре за дверью, сказал:

— Полковник Якубовский приехал. Только он так громыхает. Братцы, в-встрепенулись!

Якубовский вошел в комнату, и сразу же в ней стало тесней. Был он велик ростом, розовощек. Казалось, вместе с ним на заставу влетела вьюга.

— Ух, холодно там! — улыбаясь, зашумел Якубовский. Повернувшись к Адлюкову, сказал: — Эй, воробушек, организуй-ка мне чаю.

Славка, вытянувшийся у моей койки, с дрожью в голосе отчеканил:

— Товарищ полковник, я не воробушек.— Я — человек!

Ушаков спрятал смеющиеся глаза под надбровьями.

Якубовский громко захохотал, потрепал Адлюкова по голове:

— Ладно, брат, не обижайся. Просто я продрог, пока ехал к вам с Саланга. А ты ершист!

Быстро-быстро застучав по доскам пола сапожками, Адлюков пошел на кухню.

Якубовский расспросил Ушакова об обстановке на трассе, потер бурое лицо руками и, не дождавшись чаю, ушел. Через минуту глухо взревел двигатель его БТРа.

— Ураган, а не мужик! — Ушаков восторженно кивнул на дверь, за которой скрылся Якубовский.— Если мы пересечем границу, я бы, будь моя воля, дал солдатам по полкружки водки, взводным — по кружке, ротным — по две, а комбатам — по три. Эх, бабий ты смех!

Адлюков толкнул бедром дверь, вошел, держа в руках чайник и дрова.

— Дневальный! — крикнул комбат, сложив руки раструбом у рта.— Дневальный!

Не получив ответа, он накинул на плечи бушлат и выбежал в коридор.

— Ты не очень-то,— обратился ко мне Адлюков,— верь Ушакову про водку. Комбат — заядлый трезвенник. Прибыл на нашу заставу и личным приказом установил «сухой закон». Помню, еще сказал: «Будем теперь воевать без водки и без женщин...»

— Вот именно — без женщин! — подхватил последние слова Адлюкова вихрем ворвавшийся в комнату комбат.— Это относилось не только к женатым, но и к холостякам.

— А к холостякам-то почему? — не понял я.

— Потому,— огрызнулся Ушаков,— что здесь порядочных женщин нет. Семейным же запретил, исходя из элементарной логики: если тебя жена там ждет, почему же ты ее не ждешь?!

— Словом,— улыбнулся Адлюков,— отношения между батареей и батальоном тогда, в сентябре, несколько напряглись. Кто-то даже осмелился сказать товарищу подполковнику: «Вы не лезьте в чужой монастырь со своим уставом. Люди жили себе — дайте же им дожить нормально до 15 февраля» [6].

— Я тогда ответил,— Ушаков стряхнул с бровей снежинки,— будут так жить — не доживут!

Когда батальон Ушакова стоял в Рухе, командир полка предложил однажды всем офицерам сброситься по десять чеков на подарки женщинам к 8 Марта. Комбат отказался наотрез. «Тебе чеков жалко?» — спросил командир полка.— «Нет,— ответил Ушаков,— просто я не вижу тут ни одной женщины, здесь только...!» Он достал из кармана десятичековую бумажку и разорвал ее на мелкие кусочки. Командир полка развел руками: «Аполитично ты, комбат, рассуждаешь...»

Появившись в Рухе, Ушаков сказал полковым дамам: «До меня солдат и офицеров доили, а я не дам!»

Судя по всему, Ушаков не очень-то любил женское племя. И были на то у него свои причины.

Еще в Союзе, вернувшись однажды с полигона, застал не свои ноги в своей постели рядом с женой. Ушаков, недолго думая, вытащил пистолет из кобуры и заставил того шустрого малого — владельца ног — сесть нагишом за стол и писать объяснительную записку, которую заверил печатью начальник политотдела, вызванный на место преступления. Состоялся суд. Женщина-судья предложила Ушакову не торопиться с голословными обвинениями. «Это,— сказала она,— скорее всего навет». Вот тогда Ушаков положил на стол объяснительную записку с полковой печатью. Давая развод, судья заявила, что много видела за время своей карьеры, но только не это.

С тех пор Ушаков не женился. Не было ни желания, ни везения. Правда, отдыхая недавним летом в Союзе, повстречал на юге женщину с редким именем Таисия. Тая. Глянув на нее, даже про войну забыл. Что-то шевельнулось в окаменевшем сердце комбата. Он собрал со дна души остатки сил и влюбился в ту женщину, плюнув на рассудок и Афганистан. Бросился в пропасть нового чувства, точно мальчишка на санках с горы.

— Та-и-си-я. Та-еч-ка. Тай-ка,— повторил нараспев комбат и задумчиво поглядел на потухшую сигаретку.

— Видно,— предположил Славка,— вас, товарищ подполковник, кто-то крепко вспоминает.

— Если кто и вспоминает,— улыбнулся Ушаков, показывая прокопченное на сигаретном дыму серебро клыков,— так это черт в могиле. ...Эх, жизнь моя,— он звучно ударил ладонями по тощим ляжкам,— комедия со смертельным исходом! Братцы, а знаете, как проверять верность жены, когда возвращаешься с войны домой?

— Мне б для начала отженихаться.— Славка заблестел картечинками глаз.

— Это от тебя никуда не улетит,— постановил Ушаков,— ежели ты сам не улетишь. Так вот, метода т-такая: подъезжаешь к дому, идешь к подъезду, грохочешь сапогами на полную мощь. Старухи на лавках замирают, притаившись от ужаса. Набираешь в легкие побольше воздуха и орешь им что есть мочи: «Ну, что, б...!» А они тебе в ответ: «Это мы-то б...?! А вот твоя, такая-растакая...!» Тут ты все и узнаешь.

Замкомбата Корниенко и заместитель командира полка Ляшенко, незаметно появившиеся в комнате во время монолога Ушакова, затряслись от беззвучного смеха. Адлюков прихлопнул в ладоши.

— Ай да комбат! — Корниенко смахнул слезу ребром ладони.

— Ты бы,— неожиданно посерьезнел Ушаков,— лучше меньше смеялся, да дело бы делал.

— Что это тебя,— говорил все еще улыбавшийся Корниенко,— из стороны в сторону шарахает: то шутишь, то злишься...

— Злюсь я потому, что отдал тебе своего прапорщика, а ты его распустил. Он, подлец, вконец разболтался.

— Да не разболтался он,— вкось улыбнулся Корниенко.— От парня жена ушла.

— Передай прапорщику, что ему повезло. Без баб лучше. Спокойней. Уж я-то знаю. Вот этим местом познал.

Комбат несколько раз с силой хлопнул себя по хребту.

— Нет, Ушаков,— тихо заговорил Ляшенко,— это ты, брат, тут в кулак сжался. А вернешься — разожмешься. Здесь, на войне, мы день и ночь вместе. Воюем вместе. Спим вместе. А там — днем вместе, а вечером и ночью порознь. Там ты не сможешь, как тут. Не надейся.

— Д-да им вообще верить нельзя! — Ушаков со злобой ударил костяшками пальцев по столику.— Как только на полигон уходишь, они норовят с соседом переспать.

— Мы, Сережа, ставим наших жен в более жесткие рамки, чем самих себя. Мы себе наяву позволяем то, что даже в мыслях не разрешаем им.

Ушаков поймал Ляшенко за рукав, прошептал с вспыхнувшей ненавистью:

— Послушай сюда: за все те девять лет, что б-был женат на Людмиле, я ей ни разу не изменил. Хотя, когда она уезжала, соседки мигом сбегались. Но я их всех выпроваживал. Лишь после развода позволил кое-кому оставаться. А тут у меня «сухой закон» — и по части спиртного. И по части женщин.

— Не убеждай меня, Сережа,— Ляшенко обнял комбата за плечи,— не может человек всю жизнь бежать степным волком.

Лицо Ушакова было облито бледностью.

— Не может,— мягко повторил Ляшенко.— Должен же быть кто-то в старости, кто поможет тебе. Пока ты в армии, тебя обслужит прапорщик. А потом? Ведь ты пойми, чудак-человек, с каждым годом будет все трудней.

Часам к девяти утра ветер нагнал туч, небо помутнело, с новой силой поднялась метель.

Я вышел на дорогу и пошел в сторону пятидесятой заставы. Бронетранспортеры и боевые машины пехоты бесконечным пунктиром тянулись на север. Шли они медленно. Снежная поземка звонко била по броне. Солдаты от нечего делать курили сигарету за сигаретой, поднося их к синим губам мерзлыми неподвижными пальцами. Пройдя метров пятьсот, я нагнал бодро шагавшего лейтенанта. Он опустил на лицо шерстяную шапочку с двумя самодельными дырками для глаз, поверх натянул брезентовый капюшон. Два конца обледеневшей веревки, схваченной под подбородком в узел, хлестали его по щекам. Шли мы долго, изредка перебрасываясь короткими фразами. Близилась пятидесятая застава. Там лавиной снесло с дороги БТР, и лейтенант хотел ускорить работу солдат, с раннего утра раскапывавших машину. В ней находились механик-водитель и секретарь комитета комсомола полка. Оба они отделались легкими ушибами, но с момента аварии прошло несколько часов, и ребята здорово намерзлись.

Ветер все крепчал, норовя столкнуть нас на обочину.

— Вот ведь метет, стерва! — ругнулся лейтенант в адрес вьюги.— И кто это вздумал выводить войска в феврале?! Сколько техники уже погробили...

Он сдвинул вязаную шапочку, показав широколобое бычье лицо с глубоко всаженными черными глазами.

— Как Россия войну ведет,— лейтенант провел ладонью по заиндевевшим бровям и ресницам,— так зима лютая. Не пойму только, кому больше не везет — духам или нам. Им-то ведь тоже несладко приходится... Все тропы в горах позавалило снегом, связь между отрядами нарушена... Ты с ушаковской заставы?

— Да.

— А где же сам комбат?

— Поехал к чайхане. Часовой доложил ему, что три десантника трясут там дукан. Он помчал разбираться, прихватив командира роты Зауличного. Десантникам понравились гонконговская парфюмерия и магнитофонные кассеты.

— Десантура свое дело знает! — улыбнулся лейтенант.

Пройдя еще метров семьсот, мы увидели человек пять солдат и одного капитана, демонтировавших самодельный памятник на обочине дороги. Год тому назад здесь погиб механик-водитель бронетранспортера, и однополчане поставили в память о нем железную пирамиду с пятиконечной звездой на вершине.

— Уж месяца три, как поступил приказ от Громова,— объяснил лейтенант,— вывозить всю советскую символику, снимать с дорог памятники павшим... Чтобы, когда армия уйдет, духи не издевались, не глумились над памятью.

Двое солдат лопатками и монтировкой долбили промерзшую, захрясшую от холодов и времени землю, тщась выковырять из нее проржавевшее железо. Рядом нервно урчал КамАЗ. Кузов его был забит чахлыми плакатами с радостными призывами и лозунгами.

Капитан, то и дело переступавший с ноги на ногу от холода, вытащил из кузова почерневший тесаный шест с приколоченным к нему фанерным щитом и, надломив ударом сапога, бросил в вянувший костер. Пламя принялось прожорливо облизывать сухую древесину, с треском корежить многослойный фанерный лист, гласивший, что «...зм — наше знамя!»: кусок щита был отколот.

Я сел на корточки, вытянув руки к костру. Лейтенант уперся ногой в полыхавшее бревно: от толстой подошвы с шипением потянулись вверх струйки дыма.

— Ух, благодать какая,— прошептал он.— Я уж думал, пальцы на ногах отвалятся... В Союзе и то теплей.

— Давно вернулся? — Я прикурил от лучины.

— С неделю.

— Отпуск?

— Сопровождал «Двухсотый груз» [7].

— Куда?

— Под Ташкент.

— Домой успел съездить?

— Да. Дали четырнадцать суток. Но долго проторчал в Баграме: самолеты не садились из-за погоды. Потом добрались-таки до Кабула — перед самым Новым годом. В тамошнем морге холодильники, как на мясокомбинате. Сидели несколько дней подряд в обшарпанной комнатушке инфекционного госпиталя, рядом с моргом, где и встретили Новый год. Труп положили в цинк, запаяли. Цинк — в деревянный гроб, а его и фуражку — в транспортировочный ящик. В цинке оставили окошко: труп не был изуродован.

Лейтенант несколько минут молчал, следя глазами за хаотичным танцем огня. Пододвинул левый сапог ближе к костру: правый был окутан прогорклым сырым дымком.

— Говорят,— медленно продолжил он, тасуя в голове недавнее прошлое,— как встретишь Новый год, таким он и будет. Я встретил в кабульском морге. Не успел вернуться сюда с Ташкента, получил «похоронку» из Союза — брата в драке убили...

Лейтенант отчаянно глянул навстречу ветру и тут же зажмурился от попавших в глаза колких снежинок.

— Я,— сказал он с деланным равнодушием в голосе,— на войне выжил, а он там не смог. Так-то.

— Ездил далеко от Ташкента?

— Нет. Прилетел, передал военкому дипломат солдата, свидетельство о смерти, справку о денежной компенсации, закрытый военный билет. Военком поехал сообщать родителям, прихватив с собой «Скорую»: у отца сердце шалило... Мать на похоронах выла. Отец рвал на себе остатки волос: «Как допустили?! Как допустили?!» На меня смотрел, словно я сына его убил. Родня обступила, что-то на своем быстро-быстро говорила... Я спросил военкома: что им надо? Спрашивают, ответил он, зачем черный груз привез? Он меня

---

[6] 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана.

[7] Груз «200» — по условной терминологии — труп.

побыстрее в аэропорт отвез: бывали случаи, когда сопровождавших забрасывали камнями... Обстановка накаленная. Только что показали «Маленькую Веру» — народ побил окна в кинотеатре. А тут еще этот гроб...

Несколько афганцев с автоматами подошли к костру, стали выменивать у солдат таблетки стрептоцида на сигареты.

— Фирменные духи.— Лейтенант с улыбкой глянул на них.

— А есть риск, что эти самые духи вдруг откроют огонь?

— Да нет,— махнул он рукой,— по всей дороге идет массовое братание в виде торговли. Воевать ни у кого нет охоты...

Памятник все не давался. Один из солдат предложил подорвать его, но капитан категорически отказался. Он приказал водителю развернуть машину и ковырнуть железную пирамиду бампером.

Памятник сопротивлялся, словно под землей в него вцепился мертвыми руками убитый механик-водитель. Невнятную, но горькую тоску нагонял вид этой битвы пяти живых с одним мертвым.

Бампер прошел в нескольких сантиметрах над звездой.

— Ну, что ты тянешь?! — орал в мегафон капитан.— Наезжай! Цепляй его осью!

КамАЗ медленно наехал на пирамиду, металл отчаянно заскрежетал. Когда машина отошла, я опять увидел памятник: он чуть покосился, но не упал. Погнутая звезда валялась рядом.

— Давай еще! Ну? — кричал в мегафон капитан, стараясь переорать рев двигателя.

«Давай еще! Ну?» — вторило ему эхо в горах.

Один из солдат разбежался и обеими ногами прыгнул на пирамиду.

Та выстояла, металлически охнув.

— Ну, это ни к чему,— сказал лейтенант.— Ногами не надо.

Капитан зло глянул в нашу сторону.

КамАЗ развернулся и зашел по новой. Через минуту все было кончено: памятник лежал поверженный.

Мертвый солдат проиграл опять.

Лейтенант и я двинулись дальше. Оставалось еще тысячи две метров до того места, где утром сошла лавина и снесла бронетранспортер. Дорога была забита тылами. Машины стояли впритык друг к другу. Двигатели работали. Лед и асфальт под ногами мелко дрожали. Выхлопная гарь, мешаясь с пургой, клубилась над дорогой. Дышать было нечем. Лейтенант опустил на нос шерстяную вязанку. Я достал из бушлата грязный платок, сложил его вчетверо и прижал ко рту, используя как противогаз. Прячась от удушливых выхлопов, мы всякий раз перебегали на сторону дороги, откуда дул ветер. Солнце из последних сил пробивалось сквозь небесную мглу, вьюгу и гарь, словно сознание человека, получившего сильную контузию.

— Вчера пропал без вести солдат! — крикнул лейтенант, когда мы приближались к сползшей с гор лавине.

— Где?

— По ту сторону Саланга. Близ озера!

«...близ озера!» — подтвердило эхо.

— Говорят, ушел вместе с собакой! — крикнул лейтенант.

Я мысленно попытался воссоздать образ пропавшего без вести, представить его судьбу.

И незаметно для себя перенесся в Нью-Йорк, в «Дом Свободы»,— на встречу с бывшими советскими военнопленными, оказавшимися сейчас в США...

...Нью-Йорк плавился под перпендикулярными лучами полуденного солнца. Люди чувствовали себя не лучше, чем бройлеры в электродуховке. Горожане прилипли к кондиционерам, тщетно охлаждавшим раскаленный воздух, пропитанный асфальтовыми испарениями и приторными запахами отработанного бензина.

Поэтому Крэйг Капетас и я несказанно обрадовались, когда добрались наконец до небольшого (по американским меркам) зданьица, в котором расположилась правозащитная организация «Дом Свободы». В десять часов утра должна была начаться пресс-конференция шести бывших советских солдат, когда-то воевавших в Афганистане, оказавшихся по разным причинам в плену, потом освобожденных и вывезенных в США.

Часы показывали без четверти десять, и мы, с тоской глянув на кондиционеры, торчавшие из окон «Дома Свободы», решили сделать еще пару кругов вокруг дома.

Сопровождавший меня Капетас работал старшим литсотрудником вашингтонского ежемесячника «Регардис», предложившего «Огоньку» осуществить двухнедельный обмен журналистами. «Огонек» дал согласие, и я, превратившись в специального корреспондента «Регардиса», должен был через несколько дней вылететь в Атланту, чтобы написать серию очерков для этого журнала. Капетасу предстояло стать корреспондентом «Огонька» и написать для нас несколько материалов под общим заголовком «Перестройка глазами американца». Если честно, меня интересовал не столько город Атланта, сколько возможность повстречаться с бывшими советскими военнопленными, оказавшимися в Америке. Еще из Москвы по телефону я попросил Капетаса устроить мне несколько таких встреч. С его-то легкой руки я и оказался в Нью-Йорке.

В моем нагрудном кармане лежало удостоверение внештатного корреспондента «Регардиса», помогавшее мне в тех случаях, когда не срабатывала огоньковская «краснокожая паспортина».

Ровно в десять мы переступили порог «Дома Свободы». Расписавшись в журнале учета посетителей, я начертал напротив своей фамилии — «Корреспондент «Регардиса», Вашингтон». Странное чувство испытывал я в ту минуту — нечто наподобие того, что, наверное, ощущает человек, сделавший пластическую операцию лица и впервые после нее глядящий в зеркало: вроде я, да не совсем...

— ...Хорошо. О'кей! — сказал Микола Мовчан и сбросил джинсовую куртку с плеч, узких, как женская вешалка, повесил ее на спинку стула, закурил длинную черную сигарету. Капельки пота в его жидких светлых волосах блестками вспыхивали на свету.— Ты хочешь знать историю моей жизни? Слушай же.

Родился я в Лазорянке возле Житомира. Ма-ленькая такая деревушка, знаешь? Ничего, коли не слыхал,— не в ней дело... Однако там прошло мое детство. В город первый раз поехал, когда мне стукнуло восемь лет. Школу не любил. Да и сейчас не люблю. Скука. Чаще всего вспоминаю деревню, дорогу, деревья, дом. Мой любимый каштан. Я на нем всегда прятался. Вот говорю с тобой и вижу дорогу из моей деревни в город. Вижу себя, идущего по ней в последний раз. На уроках я читал книги. В деревне нелегко было достать их, но моя тетка работала в школьной библиотеке. Помню, в книге «Спартак» не хватало половины страниц.

Я понятия не имел, чем буду заниматься в жизни. Родился в шестьдесят третьем году. Активным пионером, тем более комсомольцем, я никогда не был. Друзья детства? Сейчас, пожалуй, и не вспомню: с тех пор, как я покинул дом и ушел в армию, прошло шесть лет. Шесть очень долгих лет. Очень долгих. В Ашхабаде, в части, сказали, что нас бросят в Афганистан.

Я не испугался: верил прессе, красочно расписавшей, как мы там НЕ воюем. Шел восемьдесят второй год. Но в ашхабадском военном госпитале случайно увидел раненых из Афганистана и понял, что там идет война. Что там даже стреляют. Родителям поначалу ничего не сказал, но потом все-таки написал. Помню, успокаивал их, что буду кушать арбузы и им присылать.

Отец мне сказал: «Сын, служи и слушайся». Отец — тракторист. Мать — доярка. Но я не послушался.

...На столике, за которым мы сидели, не было пепельницы. Мовчан соорудил ее из пустой сигаретной пачки и стряхнул туда пепел. Тонкими указательными пальцами он потер скулы.

— ...Фамилия солдата Стариков,— уточнил лейтенант, вернув меня из Нью-Йорка на Саланг.

Несколько минут мы шли молча.

— А где служил этот Мовчан? — спросил лейтенант.

...Мовчан закурил сигарету, положил руки на стол, сплетя пальцы. Сказал:

— В Афгане я служил в Газни. Осень и зима восемьдесят второго. Зима и весна восемьдесят третьего. В начале лета я перешел...

Я служил до ухода в мотострелковой части. В расположении была довольно спокойная жизнь. Но на операциях все обстояло иначе. О нашей армии ничего плохого сказать не могу. Но то, что происходило за пределами полка, было ужасно. Нигде мы не видели дружественных афганцев. Лишь одни враги. Даже афганская армия не была дружественной. Мы точно знали, что на всей территории провинции лишь одна деревня более или менее нормально относится к нашему присутствию. Когда пропагандисты выезжали агитировать, так сказать, за Советскую власть, то брали с собой роту и танки. Поговаривали, что в восемьдесят первом обстановка была лучше. Уж не знаю.

Я служил сержантом. Но не в боевых подразделениях. Обычно полк высылал на войну один батальон и разведроту. Но меня в них не было. Я прослужил около шести месяцев и ушел. Я перебежал рано утром. На рассвете. Мне просто повезло.

Мне все казалось, что я смотрю фильм про себя. Это ощущение усилилось, когда я оказался среди повстанцев. Странно, я не заметил злости в их глазах. Они видели, как я бежал, и помогли мне спрятаться, когда советский вертолет начал искать меня, обшаривать местность, кишлаки.

Желание уйти появилось в конце службы. Вначале было чувство отчаяния и неуверенности в правоте нашего дела. Все вокруг враги. Помню страшную злость к повстанцам: ведь погибало много наших.

Хотелось мстить.

Потом — сомнения в целях и методах интерпомощи. Для себя я ничего не мог решить. Знал лишь, как отвечать на политзанятиях: что мы воюем с американской агрессией и паками. Я себя спрашивал: почему же мы заминировали все подходы к расположению полка? Почему целимся в каждого афганца из пулемета? Почему убиваем тех, кому пришли на помощь?

Когда на мине подорвался крестьянин, никто не отвез его в санчасть. Все стояли и наслаждались видом его смерти. Офицер сказал: это враг — пусть помучается.

Это уже мраки. Темно. Я не послушался отца. Ушел на рассвете.

Это моя жизнь. Теперь — Америка. Другая жизнь. Фильм. Да, фильм...

Утром, когда решил уйти, долго смотрел на поле. Было тихо. Очень. Я стоял и смотрел. Мышцы ног напряглись помимо моей воли. Я замер. Посмотрел в рассвет и побежал. Когда я оглянулся, полк был далеко позади. Через поле. Афганцы, работавшие на нем, помогли мне спрятаться. Я видел, как поднялись вертолеты. Они видели, как я бежал, и все поняли.

Дня через два мы покинули кишлак и пошли в горы. Долго шли, пока не оказались в повстанческом отряде. Повстанцы смотрели на меня с любопытством, без злобы. В их руках были лишь древние буры — еще со времен британского нашествия. Другого оружия в восемьдесят третьем у них не было. Представляешь, кремниевые буры — против танков, вертолетов и бомбардировщиков. Это ведь правда. Оказалось, я попал в группу Саяфа. Они по-хорошему обращались со мной. Сначала я не понимал ни бум-бум. Позже появился человек, неплохо говорящий по-русски: он учился в Союзе, служил офицером, потом дезертировал из афганской армии.

— ...Саяф до сих пор воюет в Афганистане,— сказал задумчиво лейтенант,— нашему батальону не раз приходилось скрещивать с ним шпаги. Отчаянный вояка, ничего не скажешь...

Мовчан погладил ладонью поверхность стола, взял еще одну сигарету, щелкнул электронной зажигалкой.

— Саяф.— Мовчан затянулся,— спросил меня, почему я ушел. Я сказал, что мне не нравится эта война, что я не хочу убивать афганцев. Саяф ответил, что его люди тоже не хотят воевать, но должны отстаивать независимость страны. Иначе борьба миллионов афганцев, живших раньше на этой земле, будет сведена на нет. Нельзя обессмысливать жизнь предков.

Я жил в отряде год. Передвигался по стране вместе с повстанцами. Тогда-то я увидел и понял, что это такое — афганское сопротивление. Когда мы приходили в деревню, нас с радостью встречали все — и стар и млад. Дети тащили еду. Женщины — одежду. Мое отношение к войне сложилось и приняло форму убеждения именно в тот год.

Я приехал в Штаты в восемьдесят четвертом году, оказавшись одним из первых советских солдат здесь. Техническую сторону того, как я сюда попал, у меня нет желания обсуждать. Это может помешать другим военнопленным перебраться в Америку.

Я оказался здесь из-за того, что меня изначально обманули, послав воевать в Афганистан. Я не хочу, чтобы когда-нибудь мир судил меня, как сейчас судит преступников второй мировой войны.

Знаю, что в СССР сейчас начинают плохо говорить о ребятах, воевавших в Афгане... Заговорили, когда стало безопасно говорить и критиковать войну... Раньше надо было.

Я пытался завязать переписку с родными, но потом они сообщили, что у них начались проблемы. Я перестал писать. Не хочу, чтобы они страдали из-за меня. Это не их вина. Они хотели, чтобы я служил и слушался. Но я не внял их совету. Это моя жизнь. И если она сломана, то не родители виноваты в этом.

...Мовчан не смог сдержать дрожь в голосе. Он глубоко вдохнул прокуренный воздух.

Лейтенант слушал меня, словно ребенок сказочника. Глаза его были по-детски расширены.

— ...Когда я бежал из расположения,— опять заговорил Мовчан,— через поле, я бежал не в Америку. Я не собирался сюда. Даже не думал об этом.

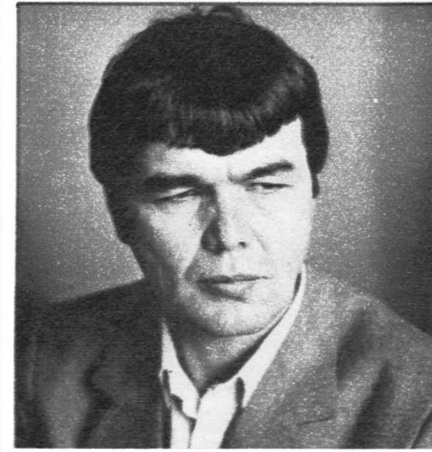
Я не бежал из Украины. Я бежал от войны. В США я приехал без особенной радости. Но у меня не было иного выхода. Я...

Сейчас мне кажется, что дороги обратно у меня нет.

— ...Ну, это он зря,— сказал лейтенант, дослушав мой рассказ.

— Мовчан никогда не вернется,— ответил я.— Не чувствовал бы за собой вины, возвратился бы. Впрочем, каждый человек должен жить там, где хочет. Иначе — рабство.

— Он вернется. Он помнит каштан и деревенскую дорогу. Она выведет его. Вот увидишь. Просто он еще раз должен встать во весь рост и побежать. Как тогда — через поле. Буксируйте!..







Мухаммад СОЛИХ

Мухаммад Солих — один из наиболее ярких представителей так называемой новой волны, набирающей сегодня силу в узбекской поэзии.

ЧАРОДЕЙСТВО

«Долой зло!» — сказали мы,
И быстро зло исчезло.

«Да здравствует свобода!» — сказали мы,
И ожила свобода.

«Долой богачей!» — сказали мы,
И богачи исчезли.

«Да здравствуют бедные!» — сказали мы,
И бедные здравствуют!

БЕЗ МЕТАФОР

Великий человек капризен,
и это часть его программы,
он выбирает время жизни,
республику и драму кармы.

Веками не рождаясь (признак
величия и чувства меры),
он скромничает, о, капризы! —
чтоб не тревожить акушера.

Скрывается. Такая личность.
Удел бессребреника тяжек.
Необходимость, историчность —
историк будущего скажет.

Он прячется не за металлом,
он весь в чувствительности кроткой,
скрываясь не за идеалом,
а, скажем, за простой бородкой.

А если бороды не в моде,
он может юркнуть за усы,
за брови,— судя по погоде...
Куда склоняются весы...

А если брови не сгодятся
и если время не поймет...
Он подождет еще рождаться
до возвращенья старых мод.

МИКРОРАЙОН

Пространство толпится и кажется общим,
наш быт вертикально поставлен, как штырь,
расти вертикально, наверное, проще,
тогда как идеи расходятся вширь.

Да я бы не сетовал на вертикали,
и вширь бы неплохо сложился мой дом,
позвал бы гостей я и принял их в зале,
широком, как скатерть, и, скажем, большом.

И вширь закалялись бы нервы зеркально,
есть в шири солидность, подобие гирь,
и вширь можно жить хорошо, вертикально,
и можно скончаться уверенно вширь.

Пускай же наш космос набит, как автобус,
мы в силах за горизонталь порадеть,
ведь ширь нам дана не напрасно, а чтобы
«Интернационал», обнимаясь, запеть!

РЕЖИМ ДНЯ

Я продираю глаз без пяти шесть.
Между явью и сном — нейтральная полоса.
Я вспоминаю, кто же такой я есть,
и вспоминаю, наверное, полчаса.

Бой курантов. Сверив себя с собой,
я преклоняю волю перед зарей труда.
Голову поднимаю для грядущих работ,
часы шесть тридцать показывают, как всегда.

Я с семи ничего не делаю вопреки
моде или властям, бьющимся против нерях,—
я сбриваю прилежно лезвием со щеки
благо, что дал Аллах.

В двадцать минут восьмого,
в точности по Москве,
за дастархан садится вся моя детвора.
Я богохульствую с кашею в голове,
их «мировоззрение» исправляю с утра.

В восемь ноль-ноль мы покидаем дом,
на перекрестке чуть-чуть задерживается жизнь.
Каждый спешит заняться своим трудом,
в школу ли, на работу —
идем в один светлый «изм».

Я спускаюсь в метро. Мне хорошо. Мне
хочется говорить с людьми, но мой голос слаб.
Каждый, склонив чело, думает о стране
и расширяет свой кругозор и масштаб.

Срочно я морщу лоб, пытаясь в одно связать
мир и себя, но я больше гор и лесов.
В восемь тридцать уже сияют мои глаза.
Но долг на плечи мои ляжет в девять часов.

В конторе я до пяти мыслю без всяких шкал,
сам по себе, свободно, а с пяти до шести
меня утомляет шквал
самостоятельности.

Я прихожу домой к семи, а точнее, в семь.
Я сутулюсь слегка, меньше масштабы тут.
Поговорю с женой и чего-нибудь съем,
детям я улыбнусь сквозь проделанный труд.

Я к десяти дремлю. И сознанье мое
в одиннадцать отключается. Я наблюдаю сон:
революцию я делаю, а старье
разбиваю, крушу и выметаю вон!

Еду на страшный бой с братьями заодно.
Подо мной — аргамак, поводья сжаты в руках.
Революционер. Имя изменено.
Имя мое, как щит: как меч, наводящий страх.

Но без пяти шесть труба поет, как закон.
Я глаза открываю. Бой кончен, огонь потух.
Нейтральная полоса. Лежу между двух имен.
Я не знаю, какое мое из двух...

ЗАДАНИЕ НА ДОМ

Выучи закат, выучи рассвет,
выучи зиму, выучи лето,
выучи время, идущее на нет,
и самое трудное — существо предмета.

Запомни очевидное и нашу жизнь
в мире неустойчивом и огромном,
чтобы рассказал ты, окажись
в ауте загробном.

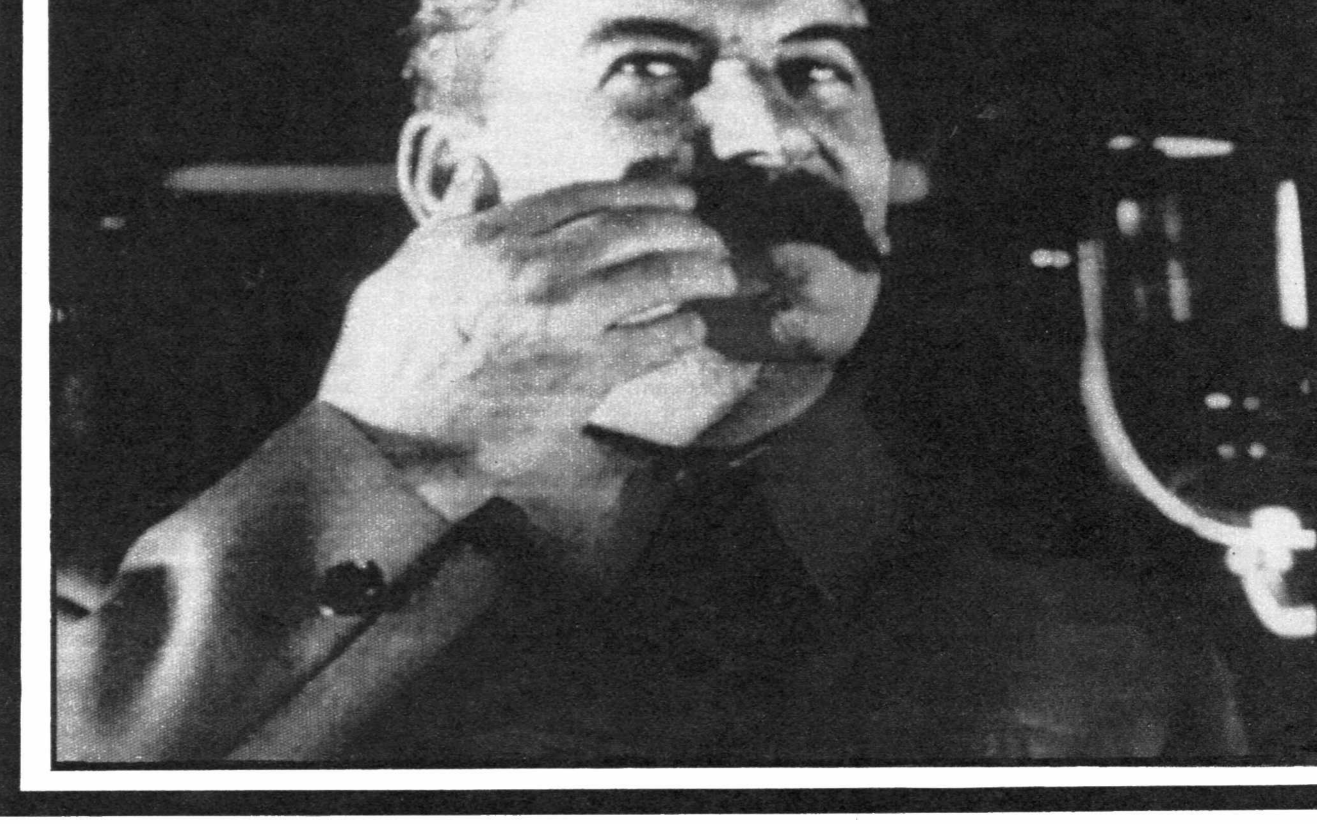
Для сравненья выучи здешние сады,
чтобы не завянуть в раю от скуки,
от павлина и вылинявшей ерунды,
выучи, как выглядят серые пичуги.

Запомни изобилие и праздные дни,
зазубри недели, когда нечего есть,
голод, как благо, в памяти храни,
только за то, что возможен здесь!

Перевел с узбекского Алексей ПАРЩИКОВ



то сообщение застало Сталина и его помощников врасплох. Надо было срочно что-то предпринять. Но что? Объявить, что самолет сел не на аэродром Хеллер, а на какой-нибудь другой? Однако было известно, что в окрестностях Осло только этот аэродром принимал гражданские самолеты. Внушить Пятакову, что он вообще не нуждался в аэродроме, а сел в пределах акватории ближайшего порта, тоже было поздно, ведь стартовал он якобы с берлинского сухопутного аэродрома Темпельгоф...



Как и следовало ожидать, на этом дело не кончилось. 29 января уже другая норвежская газета — «Арбейдербладет», орган правящей социал-демократической партии,— опубликовала еще одно сообщение:

«Сегодня в ответ на запрос корреспондента газеты «Арбейдербладет» управляющий аэродромом в Хеллере Гулликсен сообщил по телефону, что в декабре 1935 года там не приземлялись никакие иностранные самолеты».

Далее в том же сообщении говорилось, что, согласно официальному журналу полетов, за период между сентябрем 1935 года и 1 мая 1936 года на аэродроме в Хеллере совершил посадку один-единственный самолет.

Излишне добавлять, что это, конечно, не был самолет, доставивший Пятакова.

Сталин и Вышинский еще раз попались с поличным как фальсификаторы.

Не теряя времени, в спор включился Троцкий. Он через посредство мировой прессы предложил Вышинскому спросить Пятакова, какого числа тот вылетел из Берлина в Осло, получал ли он визу на право въезда в Норвегию и если получал, то на чье имя.

Троцкий просил московский суд использовать официальные каналы сношений с норвежским правительством для проверки правдивости показаний Пятакова.

«Если выяснится,— заявил Троцкий,— что Пятаков действительно побывал у меня, значит, я окажусь безнадежно скомпрометирован. Если же, напротив, я смогу доказать, что история нашей встречи вымышлена от начала до конца,— полной дискредитации подвергнется вся система «добровольных признаний» обвиняемых. Показания Пятакова должны быть проверены немедленно, пока он еще не расстрелян».

Вышинский как прокурор обязан был проверить правдивость показаний Пятакова и без вмешательства Троцкого. Однако он не мог этого сделать: не для того готовил он вместе с другими судебный фарс, чтобы затем разоблачить его.

Когда Троцкий увидел, что организаторы судебного процесса не собираются что бы то ни было проверять и готовы продолжать свое дело, не считаясь с общественным мнением, он решился на отчаянный шаг: бросил вызов Советскому правительству, написав в Москву, чтобы оттуда потребовали его выдачи Советскому Союзу для предания суду в качестве сообщника Пятакова и других обвиняемых.

Бросая такой вызов, Троцкий ставил на карту собственную жизнь. Правительство маленькой Норвегии едва ли смогло бы отклонить подобное требование своего могучего соседа, тем более Троцкий сам поднял вопрос о его выдаче. Но все дело в том, что Сталин боялся выдачи Троцкого, ибо знал, что, согласно закону, сначала норвежский суд должен будет проверить обвинения, выдвинутые против Троцкого, и досконально расследовать историю с полетом Пятакова в Осло, а может быть, заодно и скандальный эпизод, связанный с гостиницей «Бристоль». Сталин, разумеется, не мог допустить, чтобы его фальшивки были представлены на беспристрастный норвежский суд. Более выгодным было требовать не выдачи Троцкого Советскому Союзу, а подослать к нему тайных агентов, которые могли бы заставить его замолчать раз и навсегда.

Пятаков добросовестно выполнил свои обязательства. Болезненно переживая публичный позор и черня свое героическое прошлое, он надеялся ценой таких унижений спасти жизнь близким — жене и ребенку.

Ему, как и другим подсудимым, было предоставлено «последнее слово», прежде чем суд удалился на совещание для вынесения приговора. Из его краткого выступления мне врезались в память следующие слова, сказанные с трагической проникновенностью:

— Любое наказание, которое вынесет суд,— сказал Пятаков,— будет для меня легче самого факта признания... В ближайшие часы вы произнесете свой приговор; и вот я стою перед вами в грязи... потерявший свою партию, свою семью, самого себя.

30 января 1937 года военное ведомство Верховного суда приговорило тринадцать из семнадцати подсудимых к смертной казни. Все тринадцать, в том числе Пятаков, Серебряков и другие ближайшие сотрудники Ленина, были расстреляны в подвалах НКВД.

КАРЛ РАДЕК

Среди самых известных деятелей, оказавшихся на скамье подсудимых во время второго московского процесса, был Карл Радек. В кругах большевистской «старой гвардии» он, впрочем, не пользовался особым уважением. Во-первых, вероятно, потому, что принимал весьма скромное участие в революции и гражданской войне. Во-вторых, старые большевики считали его не особенно серьезным человеком. Хотя он и вращался в среде выдающихся деятелей нашей эпохи, ни для кого не было секретом, что ему присущи чрезмерная болтливость, склонность к хвастовству и нелепому фиглярничанью.

В речах и докладах он имел обыкновение удаляться от темы и разглагольствовать о своей персоне. При этом в погоне за популярностью он начинал потешать аудиторию неуместными шутками не всегда приличного свойства. Эти дешевые приемы, впрочем, снискали ему популярность, однако не среди партийной верхушки, а в кругах молодых партийцев и комсомольцев.

При всем том Радек отнюдь не был обделен способностями. Он был блестяще начитанным и хорошо информированным человеком, способным при необходимости извлечь из памяти массу сведений о любой стране, партии, событии или политическом деятеле. Он считался выдающимся специалистом в области международных отношений, и члены Политбюро нередко пользовались его консультациями по вопросам внешней политики. В партии был широко известен и тот факт, что в 1919 году Радек предостерегал Ленина от похода на Польшу и предсказывал, что в случае нападения Советской России весь польский народ, не исключая и рабочих, поднимется на защиту своего отечества и Красная Армия потерпит поражение. Предсказание Радека оказалось верным, и Ленин позднее сам признавал, что Политбюро допустило грубую ошибку, не прислушавшись к блестящему анализу ситуации, данному Радеком.

Однако подлинный талант Радек проявил в области журналистики. Сохранив в разговоре сильный иностранный акцент, он научился писать по-русски с редким совершенством.

И все же Ленин не считал возможным доверить ему действительно крупный пост в государстве, например, назначить его народным комиссаром или секретарем какого-нибудь важного обкома. Дело в том, что Радек не был способен к усидчивой, планомерной работе, а его экспансивность мешала ему удерживаться от разглашения государственных и партийных тайн. В ряде случаев, когда предполагалось обсуждение особо секретных вопросов, Ленин даже считал нужным скрывать от Радека день и час заседания Политбюро. Все эти соображения заставляли ЦК использовать его главным образом как талантливого журналиста и назначать на различные должности, связанные с Коминтерном.

Когда в партии образовалась так называемая левая оппозиция, Радек после некоторых колебаний примкнул к Троцкому. После разгрома оппозиции в конце 1927 года ему пришлось отправиться в сибирскую ссылку. Оттуда он разразился едкими письмами и заявлениями, направленными против сталинской политики и призывавшими оппозиционеров «держаться твердо». Когда Зиновьев и Каменев капитулировали перед Сталиным, Радек писал (дело было в 1928 году):

«Совершив насилие над своими убеждениями, они отреклись. Невозможно служить рабочему классу, исповедуя ложь. Те, кто остался, должны сказать правду».

Но самому Радеку недолго довелось «говорить правду». Проведя в Сибири полтора года и сообразив, что его ссылка может стать вообще бессрочной, Радек решил переметнуться в сталинский лагерь и таким путем обрести свободу.

Тем, кто проявил готовность сдаться раньше, были поставлены относительно мягкие условия капитуляции. Единственное, что от них требовалось,— это подписать декларацию, где было бы сказано, что они отклонились от настоящей большевистской линии и что сталинская политическая линия была верна. Радек, капитулировавший значительно позже Зиновьева с Каменевым, был поставлен перед необходимостью принять более суровые условия: помимо заявления о раскаянии, он взял на себя обязательство вести пропаганду, направленную против оппозиции. С этого времени Радек поставил свое перо на службу Сталину, всеми силами стремясь войти к нему в доверие и восстановить свое прежнее положение в партии.

Еще так недавно, находясь в Сибири, Радек писал в адрес ЦК о Троцком (в ту пору находившемся в алма-атинской ссылке):

«Мы не можем оставаться безгласными и пассивными, видя, как малярийная лихорадка сжигает бойца, который всю свою жизнь посвятил рабочему классу и был мечом Октябрьской революции».

Прошло не более года — и тот же самый Радек, стремясь заслужить благосклонность Сталина, начал поливать Троцкого грязью и клеймить его как изменника делу революции и отступника от коммунизма. Вплоть до судебного процесса 1937 года Радек оставался верным сталинским помощником в организации непрекращающейся клеветнической кампании против Троцкого.

В 1929 году, вскоре после возвращения Радека из ссылки в Москву, к нему домой зашел сотрудник Иностранного управления НКВД Яков Блюмкин. Радек был знаком с ним со времен гражданской войны. Полагая, что, несмотря на капитуляцию перед Сталиным, Радек в душе остался искренним и неподкупным революционером, Блюмкин сообщил ему, что только что им получено служебное задание, требующее выезда в Турцию. Там он рассчитывает встретиться с Троцким (к тому времени высланным из СССР) и переговорить с ним.

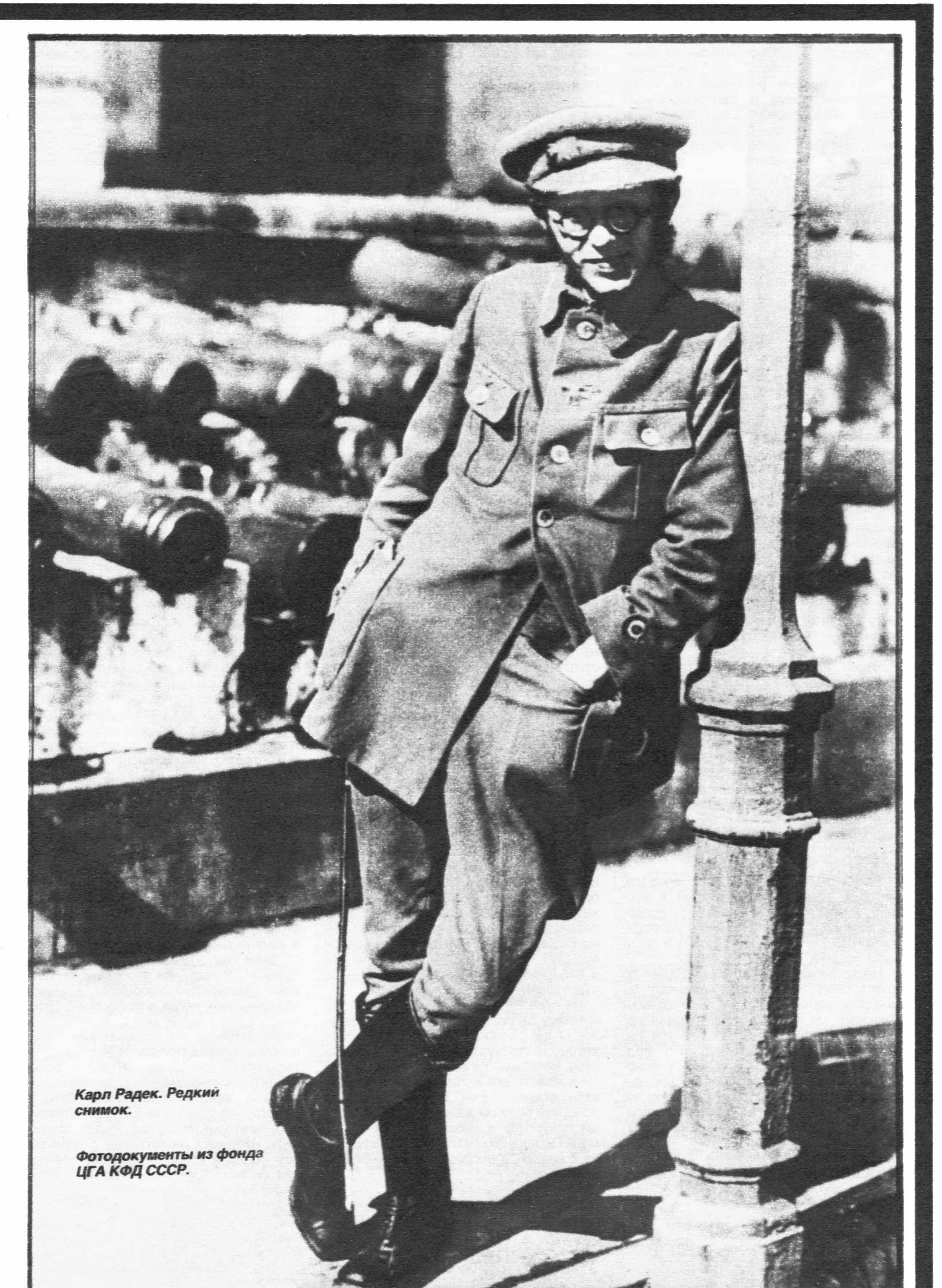
Радек быстро сообразил, что сама судьба предоставила ему редкую возможность доказать преданность Сталину и одним махом восстановить свое былое положение в партии. Как только Блюмкин ушел, Радек помчался в Кремль и передал Сталину все, что узнал от Блюмкина. Сталина встревожил тот факт, что даже в НКВД находятся люди, готовые рисковать своей головой ради Троцкого. Он тотчас вызвал Ягоду и приказал ему установить тщательное наблюдение за Блюмкиным, чтобы узнать, с кем из вожаков оппозиции он встретится до отъезда. Таким путем Сталин надеялся поймать в ловушку тех ведущих участников оппозиции, кто формально отрекся от

Продолжение. См. «Огонек» №№ 46—48.

СВИДЕТЕЛИ ОБВИНЕНИЯ

Александр ОРЛОВ

ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ СТАЛИНСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ



Карл Радек. Редкий снимок.

Фотодокументы из фонда ЦГА КФД СССР.

своих взглядов, обвинить их в двурушничестве и снова отправить в Сибирь.

Ягода не был уверен, что его агентам удастся слежка за таким опытным сотрудником разведки, как Блюмкин. Он решил получить информацию, требующуюся Сталину, иным путем. Обсуждая полученное задание с начальником Иностранного управления, Ягода вызвал в свой кабинет сотрудницу этого управления, некую Лизу Г., красивую молодую женщину, которой Блюмкин одно время оказывал усиленные знаки внимания, и попросил ее быть с Блюмкиным поласковее и, изображая разочарование в официальной политике партии, вести себя так, словно она сочувствует троцкистской оппозиции. Ягода надеялся, что, сблизившись с Блюмкиным, Лиза Г. сможет узнать от него о планах его свидания с Троцким и о том, с кем из бывших лидеров оппозиции Блюмкин рассчитывает встретиться после этого свидания. Лизе дали понять, что в интересах партии ей следует отбросить всяческие буржуазные предрассудки и попытаться вступить в интимную связь с Блюмкиным.

Не отличавшийся особой щепетильностью Блюмкин не оттолкнул молодую женщину, открывшую ему душу. Однако, несмотря на «вспыхнувшую» страсть, он ничего не рассказывал ей ни о Троцком, ни о ком-либо другом из оппозиционной верхушки. Сыщики, следовавшие за ним по пятам, отражали в сводках каждый его шаг, включая интимные свидания с Лизой Г., но так и не засекли ни одной его встречи с вожаками оппозиции.

Роман Лизы Г. с Блюмкиным продолжался три недели. После этого, поскольку он не принес Ягоде ожидаемой информации, тот приказал Иностранному управлению «направить» его наконец в Турцию, однако по дороге на вокзал арестовать — так, чтобы он не успел даже выбраться из Москвы. Лиза Г., как и следовало ожидать, провожала его на вокзал. Машина, в которой они ехали, была задержана, и Блюмкин доставлен в тюрьму. На допросах он держался с поразительным достоинством и смело пошел на расстрел. В последний момент перед тем, как его жизнь оборвалась, он успел крикнуть: «Да здравствует Троцкий!»

Тайный расстрел Блюмкина, относящийся к 1929 году, произвел тяжелое впечатление на всех, кто узнал об этом деле. В истории СССР это был первый случай расстрела члена большевистской партии за сочувствие оппозиции. Старые большевики — даже те из них, кто никогда не имел ничего общего с оппозицией,— начали бойкотировать Радека и перестали с ним здороваться. Неприязненное отношение прежних товарищей только тесней привязало Радека к сталинскому блоку. В общем, санкционировав расстрел Блюмкина, Сталин превратил Радека в своего покорного раба.

Из-под его пера теперь выходили самые беспринципные обвинения и ядовитые инвективы, направленные против Троцкого. Уже в 1929 году, за семь лет до начала московских процессов, Радек в своих публичных выступлениях называл Троцкого Иудой и обвинял его в том, что он сделался «прихвостнем лорда Бивербрука». Поток этой брани и клеветы с годами усиливался буквально в геометрической прогрессии.

Усердие Радека принесло свои плоды: он вновь получил доступ в Кремль (ему даже выдали туда постоянный пропуск), начал заглядывать в кабинет Сталина и даже на его дачу. Позднее, на суде, он оценит этот период своей жизни словами, обращенными к государственному обвинителю: «Я оказался в опасной близости к власти».

Звезда Радека снова засияла... Аппарату ЦК было предписано всячески популяризировать имя Радека и организовать цикл его лекций, посвященных проблемам международных отношений. Эти лекции были затем опубликованы в виде брошюр и распространены в сотнях тысяч экземпляров. Ягода, в 1927

году лично арестовывавший Радека, теперь обращался к нему с преувеличенной вежливостью и почтительно именовал Карлом Бернгардовичем. Кто-то из старых большевиков в разговоре со мной иронически заметил: «Посмотрите-ка на Радека! Если б не его оппозиционное прошлое, ему бы не видать такой карьеры!»

А в 1936 году Сталин — после всего, что Радек для него сделал,— распорядился не только арестовать его, но и представить на судебном процессе как ближайшего приспешника Троцкого. Это не умещалось у меня в голове. Быть может, сталинские поступки объяснялись его неумением забывать старые обиды? Это было бы слишком однобокое объяснение. На мой взгляд, Сталин решил избавиться от Радека скорее всего потому, что держался все той же своей генеральной линии: ликвидировать всех, кто принадлежал к старой гвардии.

Арестованный Радек не мог прийти в себя от негодования: «После всего, что я сделал для Сталина,— такая с его стороны несправедливость!» Радек умолял дать ему возможность поговорить со Сталиным, однако ему отказали; тогда он написал ему большое письмо, но и оно осталось без ответа.

Видя, что попытка пробудить в Сталине совесть осталась безрезультатной, Радек сосредоточил свои усилия на другой идее: убедить следователей, что в их же собственных интересах исключить его из числа участников судебного процесса. Его аргументам нельзя было отказать в логике: после всего того, что он говорил и писал о Троцком, смешно изображать его близким другом и соучастником последнего. Руководители НКВД понимали, конечно, что Радек прав, но «хозяин» хотел видеть Радека на суде в качестве обвиняемого, и им оставалось лишь исполнить его прихоть.

Радек не отличался сильной волей, однако чувство горькой обиды придало ему упрямства. Над Радеком работала целая бригада следователей, включая Бермана и Кедрина-младшего; они допрашивали его, пользуясь методом так называемого «конвейера», он, всем на удивление, держался. Он терпеливо сносил оскорбления, какими осыпали его следователи, и не мог стерпеть лишь одного: кто-то из следователей лицемерно и методично заявлял ему, будто он убежден, что Радек является секретным представителем Троцкого в СССР. С этим следователем он отказывался разговаривать.

В феврале 1937 года начальник Иностранного управления НКВД рассказал мне о на редкость пикантной сцене, разыгравшейся между Радеком и начальником Секретного политического управления Молчановым.

Однажды ночью, допрашивая Радека, Молчанов довел его до крайнего озлобления. Не в силах более сдерживаться, Радек ударил по столу кулаком и решительно объявил:

— Ладно! Я согласен сейчас же подписать все, что угодно. И признать, что я хотел убить всех членов Политбюро и посадить на кремлевский престол Гитлера. Но к своим признаниям я хочу добавить одну небольшую деталь — что, кроме тех сообщников, которых вы мне навязали, я имел еще одного, по фамилии... Молчанов... Да, да, Молчанов! — истерически закричал Радек.— Если вы считаете, что необходимо кем-то пожертвовать для блага партии, то пусть мы пожертвуем собой вместе.

Молчанов побледнел как полотно.

— И знаете, что я думаю? — продолжал Радек, наслаждаясь его замешательством.— Я думаю, что, если я всерьез предложу это условие Ежову, он его охотно примет. Что для Ежова судьба какого-то там Молчанова, когда дело идет об интересах партии! Чтобы заполучить на суд одного такого, как Радек, он без разговора подкинет дюжину таких молчановых!

Когда руководители НКВД убедились, что подготовка Радека к судебному процессу непозволительно затягивается, они потребовали от другого обвиняемого — Григория Сокольникова, бывшего посла в Англии,— повлиять на Радека. Сокольников, который капитулировал уже давно, опасаясь за жизнь молодой жены и двадцатитрехлетнего сына от первого брака, согласился поговорить с Радеком. Разговор состоялся в присутствии следователя и в дальнейшем был запротоколирован как очная ставка двух обвиняемых. Однако в протоколе ни единым словом не упомянуто о том, что в действительности происходило на этой встрече. Следователь написал только, что в ответ на его вопросы Сокольников во всем сознавался и указывал на Радека как на своего сообщника.

Тем не менее позиция Сокольникова оказала решающее влияние на дальнейшее поведение Радека. Григорий Сокольников, являвшийся членом ЦК партии еще при Ленине, в решающие годы революции и гражданской войны пользовался репутацией исключительно серьезного и осмотрительного политического деятеля, не склонного к опрометчивым решениям. И когда слабохарактерный и легкомысленный Радек почувствовал себя загнанным в тупик, он послушно последовал примеру человека, который имел смелость прийти к определенному решению и придерживаться его.

Правда, Радек не хотел предстать перед судом на худших условиях, чем те, что Сокольников смог обеспечить себе. Он узнал от Сокольникова, что тому удалось добиться встречи со Сталиным и даже получить от него некоторые обещания. Радеку тоже требовались гарантии — не от руководителей НКВД, а из уст Сталина. На этом условии он был готов подписать «признание» и предстать перед судом в качестве подсудимого.

Однако Сталин не пожелал видеть Радека. Быть может, это был один из тех редких случаев, когда даже ничем не гнушавшийся Сталин испытывал некоторую неловкость. «Следствие» по делу Радека тянулось уже что-то около двух месяцев, а тот все продолжал настаивать на свидании с «хозяином». Наконец Ежов заявил, что если Радеку это так уж необходимо, то сначала он должен обратиться к Сталину с личным письмом, содержащим требуемые признания. Радек написал такое письмо, но по каким-то причинам оно было отклонено Ежовым. Пришлось написать второе, уже при участии самого Ежова. Не могу сказать, почему «органы» придавали этому письму столь серьезное значение.

Через несколько дней Сталин появился в здании НКВД, и в присутствии Ежова у него состоялся долгий разговор с Радеком. После этого Радека привели в кабинет Кедрова, где его ждал уже заранее подготовленный протокол допроса. Он внимательно прочел показания, написанные за него, и неожиданно, взяв карандаш, принялся делать поправки, не обращая внимания на протесты Кедрова. Наконец ему, видимо, надоело это занятие, и он объявил: «Это не то, что нужно. Дайте мне бумагу и ручку, и я напишу сам!»

Радек набросал протокол допроса, который привел следователей в восторг. В нем он сам задавал себе вопросы, сам же и отвечал на них. Руководители НКВД не рискнули сделать в писаниях Радека никаких поправок.

Несколькими днями позже Радек по собственной инициативе приписал такое дополнение: действуя по указаниям Троцкого, он будто бы подтвердил одному из гитлеровских дипломатов (во время какого-то банкета), что подпольный антисоветский «блок» уполномочил Троцкого вести переговоры с германским правительством и что тот же «блок» готов сделать Германии территориальные уступки, которые пообещает Троцкий.

Изменения, внесенные Радеком в сложившуюся к тому времени картину «антисоветского заговора», заставили переписывать почти все показания основных обвиняемых по этому делу. С этого момента Радек сделался личным консультантом Ежова по совершенствованию легенды о заговоре. Легенда сделалась с его помощью еще более драматичной и получила отличное словесное оформление.

Стремясь угодить Сталину, Радек выдумал еще одну версию, представленную им в качестве дополнения к показаниям Сокольникова. Согласно этой версии, один японский дипломат, нанося официальный визит Сокольникову, в то время заместителю наркома иностранных дел, спросил у него, насколько серьезны предложения, которые Троцкий сделал германскому правительству. Сокольников якобы подтвердил этому дипломату, что Троцкий действительно получил полномочия на ведение таких переговоров. Сталину понравилась эта выдумка, и Сокольникову тоже пришлось поставить под ней свою подпись.

Но главная услуга, которую Радек оказал следствию, состояла в том, что он помог убедить Николая Муралова, личного друга Троцкого и выдающегося полководца гражданской войны, тоже дать ложные показания, направленные против Троцкого.

Не годясь по своему характеру в настоящие заговорщики, Радек вместе с тем, как никто другой, подходил для того, чтобы разыграть роль заговорщика в сталинской судебной комедии. Для такой роли он обладал поистине блестящими данными. Прирожденный демагог, он считал и правду, и ложь одинаково приемлемыми средствами для достижения своих целей. Софистика и риторика были его стихией, и в прошлом он нередко — в тех случаях, когда требовалось партии,— с ловкостью настоящего фокусника умел доказать, что белое — это черное, а черное — белое. Пообещав Сталину лгать на суде «для блага партии», а фактически для спасения собственной шкуры, Радек бросился исполнять порученное задание с прытью хорошего спортсмена. Стремление первенствовать во всем было одной из его характернейших черт. Теперь он хотел быть первым и здесь. Даже в весьма жалкой роли подсудимого, играющего разоблаченного убийцу и шпиона, он усмотрел свой «шанс» — возможность интеллектуального состязания с другими подсудимыми и даже с прокурором.

Радек сыграл свою роль на суде с таким артистическим совершенством, что непосвященные были убеждены: он говорит чистую правду. Другие подсудимые рассказывали суду о своих преступлениях вялым, бесцветным голосом, словно читая лекцию о давно забытых страницах древней истории. А Радек так вжился в роль, что всему, о чем заходила речь, готов был сообщить истинно драматический оттенок, точно это были реальные и притом недавние события.

Он отнюдь не начинал с изложения криминальных разговоров, которые будто бы вел со своими сообщниками, или с содержания писем, будто бы полученных им от Троцкого. Нет, будучи прирожденным артистом и незаурядным психологом, он прежде всего набрасывал перед судом драматическую картину терзавших его сомнений, душераздирающих страданий, которые он испытывал, когда «логика фракционной борьбы» шаг за шагом заводила его в лабиринт преступлений, откуда — он чувствовал — ему не выбраться.

На суде Радек буквально скулил, занимаясь безжалостным самобичеванием. О да, теперь он понял: то, что он делал, было чистым безумием... средства, которыми он пользовался, не могли привести его к тем целям, какие он себе ставил... Ему давно уже стало ясно, что если бы даже он и его товарищи преуспели в своем стремлении помочь Гитлеру, то Гитлер не допустил бы их к власти, а отбросил, «как выжатый лимон»...

Борясь за спасение собственной жизни, Радек не только выполнил, но и перевыполнил указания, полученные от Сталина. Но Вышинскому этого было недостаточно. Он полагал, что в задачу прокурора на процессе входит вновь и вновь наносить удары тем, кто уже лежал, поверженный ниц. Задав Радеку несколько каверзных вопросов, Вышинский напомнил ему, что он не только отказался от намерения рассказать о заговоре и о своих сообщниках, но даже и после ареста в течение трех месяцев продолжал отрекаться от своего участия в заговоре.

— Можно ли после этого принимать всерьез то, что вы тут говорили о своих колебаниях и опасениях? — спрашивал Вышинский.

Придирки Вышинского разозлили Радека, и он огрызнулся:

— Да, если игнорировать тот факт, что о программе заговорщиков и об указаниях Троцкого вы узнали только от меня, тогда, конечно, принимать всерьез нельзя...

Радек позволил себе опасный намек. Эти слова «вы узнали только от меня» показали, что ни НКВД, ни государственный обвинитель не имели, кроме этого признания, никаких улик против Радека и остальных обвиняемых.

Радек вполне обоснованно предъявлял свои авторские права на так называемые «инструкции Троцкого». Ведь не кто иной, как он, после свидания с глазу на глаз со Сталиным отверг «показания», составленные для него следователем Кедровым, и собственноручно изложил на бумаге новую версию этих «инструкций». Неожиданная вспышка Радека и его намек на особые услуги, оказанные им следствию, встревожили суд и прокурора. Во избежание дальнейших осложнений председательствующий Ульрих поспешил объявить перерыв.

Радек так долго пресмыкался перед Сталиным и так лез из кожи вон, чтобы помочь прокурору, что можно было подумать, будто он был просто растленной личностью, уже равнодушной к тому, что скажет о нем мир. Однако, если внимательнее вдуматься в то, что Радек сказал на суде, станет ясно, что он строил свои саморазоблачения так, чтобы мир мог сделать из них вывод о беспочвенности обвинений и отсутствии у суда каких бы то ни было доказательств вины подсудимых.

Вплоть до конца судебного спектакля его режиссеры не разгадали скользкий замысел Радека. Ублажаемые его саморазоблачением и яростными нападками на Троцкого, прокурор и судьи не заметили, как искусно он протащил свою опасную контрабанду, подточившую тот фундамент, на котором строились многие обвинения.

В своем последнем слове Радек приоткрыл завесу над теми приемами, с помощью которых ему удалась эта контрабанда. «Последнее слово» он начал с того, что недвусмысленно признал свою вину.

— Нет таких оправданий,— говорил Радек,— которыми взрослый человек, владеющий рассудком, мог бы объяснить свою измену родине. Напрасно и я пытался подыскать себе смягчающие обстоятельства. Человек, проведший тридцать пять лет в рабочем движении, не может оправдывать свое преступление какими бы то ни было обстоятельствами, когда он сознается в измене родине. Я не мог прикрываться даже тем, что меня совратил с пути Троцкий. Я был уже взрослым человеком с полностью сформировавшимися убеждениями, когда встретился с Троцким.

Выплатив таким образом дань, обещанную следователям, и усыпив бдительность прокурора, Радек прибег к тактическому маневру, который давал ему шанс выразить вслух кое-что из того, что отнюдь не входило в планы организаторов процесса. Радек заявил суду, что, хотя он согласен с прокурором по всем главным пунктам обвинения, он тем не менее протестует против

попытки Вышинского охарактеризовать подсудимых как сущих бандитов.

— Слыша, что люди, сидящие здесь, на скамье подсудимых, являются попросту бандитами и шпионами, я протестовал против этого! Имеются свидетельства двух человек — мое собственное признание в том, что я получал инструкции и письма от Троцкого (которые, к сожалению, я сжег), и признание Пятакова, который говорил с Троцким. **Все признания остальных обвиняемых основываются на нашем признании. Если вы имеете дело с обычными бандитами и шпионами, на чем же основано ваше убеждение, что мы говорили чистую правду?**

Эти слова Радека прозвучали пощечиной Сталину.

Но, несмотря на несколько коротких, хотя и эффективных выпадов, Радек все же оказал Сталину неоценимую услугу в подготовке судебного спектакля. В целом он полностью выполнил полученные от Сталина указания.

И вот ранним утром 20 января 1937 года Радек вместе со своими товарищами по скамье подсудимых стоя внимал словам приговора. Все подсудимые вслушивались в чтение Ульриха, затаив дыхание. Покончив с так называемой констатирующей частью приговора, Ульрих перешел к мерам наказания, определенным каждому из обвиняемых. «К высшей мере наказания...», «к высшей мере наказания...», «к высшей мере наказания...». Дойдя до фамилии Радека, он произнес: «... приговаривается к лишению свободы на срок десять лет».

Лицо Радека просияло. Он подождал конца чтения, затем повернулся к остальным подсудимым, пожал плечами, точно стесняясь своей удачи, и послал им виноватую усмешку. Точно такую же усмешку он адресовал и аудитории.

ЯГОДА В ТЮРЕМНОЙ КАМЕРЕ

В кошмарной атмосфере бессудных расстрелов и безотчетного ужаса, охватившего всю страну, энергично шла подготовка третьего московского процесса, на который надлежало вывести последнюю группу старых большевиков, сподвижников Ленина. Сталинские инквизиторы орудовали теперь более уверенно. Во-первых, их методы прошли успешную проверку на двух первых процессах. Во-вторых, психоз всеобщего страха, порожденный массовым террором этих лет, вооружил следователей дополнительными средствами воздействия на обвиняемых.

Теперь, когда требовалось сломить их волю, угрозы заметно преобладали над обещаниями. Если во время подготовки двух предыдущих процессов еще не все арестованные верили, что Сталин может привести в исполнение дикие угрозы, относящиеся к их детям, то теперь никто из обвиняемых не сомневался в серьезности таких угроз. Чтобы на этот счет не оставалось иллюзий, Ежов распорядился подсаживать в каждую тюремную камеру под видом арестованных агентов НКВД. Эти агенты должны были рассказывать другим заключенным истории о том, как десяти-двенадцатилетних детей выводили на расстрел вместе с родителями. В садистской атмосфере моральных пыток, расстрелов и самоубийств можно было поверить всему...

На третьем московском процессе, начавшемся в Москве в марте 1938 года, в качестве главных обвиняемых фигурировали Николай Бухарин, бывший глава Коминтерна, член ленинского Политбюро и один из крупнейших теоретиков партии; Алексей Рыков, тоже бывший член Политбюро и заместитель Ленина в Совете Народных Комиссаров, после ленинской смерти возглавивший Советское правительство; Николай Крестинский, бывший секретарь ЦК партии и заместитель Ленина по организационным вопросам; Христиан Раковский, один из самых уважаемых старых членов партии, имеющий огромные заслуги перед революцией и назначенный по указанию Ленина руководителем Советской Украины.

И вот рядом с этими прославленными деятелями партии на скамье подсудимых оказалась одиозная фигура, появление которой среди арестованных друзей и соратников Ленина было сенсацией мирового значения.

Речь идет о бывшем руководителе НКВД Генрихе Ягоде. Тот самый Ягода, который полтора года назад, роковой августовской ночью 1936 года, стоял с Ежовым в подвале здания НКВД, наблюдая, как происходит расстрел Зиновьева, Каменева и других осужденных на первом процессе. А теперь сам Ягода по приказу Сталина посажен на скамью подсудимых как участник того же самого заговора и один из ближайших сообщников Зиновьева, Каменева, Смирнова и других старых большевиков, которых он же пытал и казнил.

Более чудовищную нелепость трудно было себе представить. Казалось, что Сталин весь свой талант фальсификатора израсходовал на организацию первых двух процессов и его «творческое» воображение исчерпало себя...

Подлинное же объяснение того, что поверхностному наблюдателю могло казаться просто нелепостью, составляет один из главнейших секретов всех трех московских процессов. Дело в том, что Сталин применил такой «идиотский» ход отнюдь не по недомыслию. Напротив, он был чрезвычайно проницателен и дьявольски ловок, когда дело касалось политических интриг. Просто он не смог избежать специфических трудностей, с какими сталкиваются все фальсификаторы, когда следы их подлогов становятся явными.

Итак, выдумав чудовищную нелепость, будто Ягода был сообщником Зиновьева и Каменева, Сталин полностью снимал с себя ответственность за некое давнее преступление, следы которого оказались недостаточно затерты и вели прямо к нему, Сталину. Этим преступлением было все то же убийство Кирова...

Однако напрасно Сталин думал, что тайна убийства Кирова так и останется навсегда тайной. Он явно просчитался, не придав значения, скажем, тому факту, что заместителей Кирова удивило таинственное исчезновение его охраны из злополучного коридора. Заместители Кирова знали также, что его убийца — Николаев — за две недели до того уже был задержан в Смольном, что при нем и тогда был заряженный револьвер и тем не менее спустя две недели ему снова выдали пропуск в Смольный.

Но наиболее подозрительным, что подтверждало слухи, будто Киров был «ликвидирован» самими властями, выглядел сталинский приказ Агранову и Миронову: очистить Ленинград от «кировцев». В ленинградское управление НКВД были вызваны сотни видных деятелей, составлявших основу кировского политического и хозяйственного аппарата. Каждому из них было предписано в течение недели покинуть Ленинград и переехать на новое место работы, которое было подобрано, как правило, в отдаленных районах Урала и Сибири...

О том, что тайна убийства Кирова в общем-то перестала быть тайной, Сталин узнал с запозданием. Ягода, снабжавший его разнообразной информацией, в том числе и сводками различных слухов и настроений, боялся докладывать об этом. В ушах Ягоды все еще звучала бешеная сталинская реплика «М....!», брошенная ему в Ленинграде. Видные члены ЦК, постепенно узнавшие тайну убийства Кирова, тоже не спешили сообщить об этом Сталину, поскольку этим они автоматически зачислили бы себя в категорию людей, знающих «слишком много».

В общем, когда все это стало известно Сталину, было уже поздно думать о более тщательном сокрытии истины. Оставалось только одно: объявить открыто, что убийство Кирова было делом рук НКВД, и отнести все на счет Ягоды. А поскольку на первых двух московских процессах ответственность за это убийство была возложена на Зиновьева и Каменева, то теперь Ягода должен был стать их сообщником. Таким образом, извилистые увертки, обычно сопровождающие любое мошенничество, заставили Сталина свести воедино две взаимоисключающие версии. Так родилась эта абсурдная легенда, будто Ягода, возглавлявший подготовку первого московского процесса, а затем казнивший Зиновьева и Каменева, в действительности был их сообщником.

Появление всемогущего начальника сталинской тайной полиции на скамье подсудимых произвело в стране фурор. Тем более что Сталин, по своему обычаю, навесил на него множество невероятных грехов. Оказывается, Ягода, в течение пятнадцати лет возглавлявший советскую контрразведку, сам являлся иностранным шпионом. Уже одно это звучало фантастически. Но сверх того Ягода, известный всей стране как свирепый палач троцкистов, сам оказался троцкистом и доверенным агентом Троцкого.

Это Ягода опрыскивал стены ежовского кабинета ядом, чтобы умертвить Ежова. Это он набрал целую команду врачей, чтобы «залечить насмерть» тех, кого он не решался убить в открытую. При упоминании подобных приемов в уме воскресали легенды об умерщвлении соперников ароматом ядовитых цветов и дымом отравленных свеч.

Однако народ не мог расценивать все происходящее как всего лишь кошмарную легенду. Прозаические стенограммы судебных заседаний, сообщения о расстрелах обвиняемых придавали этим кошмарам пугающую реальность. Из всего происходящего люди могли сделать единственно важный для себя вывод: уж если всемогущего Ягоду так бесцеремонно бросили в тюрьму, то никто в СССР не может чувствовать себя в безопасности. Коль скоро сам создатель инквизиторской машины не смог выстоять под ее давлением, то уж никакой смертный не должен надеяться на поблажку.

Если бы у Сталина не возникла насущная потребность обвинить Ягоду в убийстве Кирова, он, конечно, не посадил бы его на скамью подсудимых. Потерять Ягоду, отказаться от его бесценных услуг было серьезной жертвой для Сталина. За пятнадцать лет, что они проработали рука об руку, Ягода сделался чуть ли не «вторым я» Сталина. Никто так не понимал Сталина, как Ягода. Никто из приближенных не сделал для него так много. Никому Сталин не доверял в такой степени, как Ягоде.

Обладая сталинскими чертами — той же изворотливостью и подозрительностью — и почти сталинской виртуозностью в искусстве политической интриги, именно Ягода оплетал потенциальных соперников Сталина предательской паутиной и тщательно подбирал ему беспринципных, но надежных помощников.

Ягода собирал для Сталина компрометирующую информацию, касающуюся высших руководителей государства. Когда в поведении такого руководителя начинали проявляться малейшие признаки независимости, Сталину достаточно было протянуть руку к досье, подобранному Ягодой. В таком досье наряду с серьезными документами, например, доказательствами былой принадлежности советского государственного деятеля к информаторам царской полиции, можно было встретить смехотворные донесения наподобие того, что жена этого деятеля колотит свою домработницу или что на пасху она тайно ходила в церковь святить куличи. Самым распространенным прегрешением было такое: почти все сталинские соратники, заполняя партийные анкеты, приписывали себе дореволюционный партийный стаж, которого в действительности не имели.

В досье были отражены также скандалы, связанные с половой распущенностью «вождей».

Ягоду можно было назвать глазами и ушами Сталина. В квартирах и на дачах членов Политбюро и наркомов он установил замаскированные микрофоны и всю информацию, полученную таким путем, докладывал Сталину. Сталин знал всю подноготную своих соратников, нередко был в курсе их самых сокровенных мыслей, неосторожно высказанных в разговоре с женой, сыном, братом или другом. Все это ограждало сталинскую единоличную власть от всяких неожиданных сюрпризов.

Кстати, Сталин был чрезвычайно ревнив ко всем проявлениям дружбы среди своих приближенных, особенно членов Политбюро. Если двое или трое из них начинали встречаться в свободное время, Ягода должен был навострить уши и сделать Сталину соответствующий доклад. Ведь люди, связанные личной дружбой, склонны доверять друг другу. А это могло уже привести к возникновению группы или фракции, направленной против Сталина. В подобных случаях он старался спровоцировать ссору между новыми друзьями, а если они туго соображали, что от них требуется, то и разъединить их, переведя одного из них на работу вне Москвы или используя другие «организационные меры».

Услуги, которые Ягода оказывал Сталину, были серьезны и многообразны. Но главная ценность Ягоды состояла в том, что он преследовал политических противников Сталина с беспримерной жестокостью, стер с лица земли остатки оппозиции и старую ленинскую гвардию.

При всем том Ягода был единственным, кого, несмотря на его громадную власть, Сталин мог не опасаться как соперника. Он знал, что, если Ягода и надумает сколотить политическую фракцию, направленную против его, сталинского, руководства, партия за ним не пойдет. Путь к соглашению со старой гвардией был для него навсегда закрыт трупами старых большевиков, расстрелянных им по приказу Сталина. Не мог Ягода сколотить и новую оппозицию из тех, кто окружал Сталина,— члены Политбюро и правительства ненавидели его лютой ненавистью.

Они не могли смириться с тем, что Сталин доверил Ягоде, человеку без революционного прошлого, столь широкую власть, что Ягода получил даже право вмешиваться в дела наркоматов, подчиненных им, старым революционерам. Ворошилов отважился на затяжную борьбу со спецотделами НКВД, созданными Ягодой во всех воинских частях и занимавшимися неустанной слежкой в армии. Каганович, нарком путей сообщения, был раздражен вмешательством Транспортного управления НКВД в его работу. Члены Политбюро, руководившие промышленностью и торговлей, были уязвлены тем, что Экономическое управление НКВД регулярно вскрывало скандальные случаи коррупции, растрат и хищений на их предприятиях.

В подчиненных им ведомствах Ягода держал тысячи тайных информаторов, с помощью которых он в любой момент мог наскрести множество неприятных фактов, дискредитирующих их работу. Всеобщая неприязнь к Ягоде объяснялась еще и тем, что все эти крупные шишки из сталинской свиты чувствовали себя постоянно как под стеклянным колпаком и не могли сделать шагу без «личной охраны», приставленной к ним все тем же Ягодой.

Все это как раз очень устраивало Сталина: он знал, что Ягода никогда не вступит ни в какой сговор с членами Политбюро, а если среди членов ЦК и возникнет нелегальная группировка, для Ягоды и мощного аппарата НКВД не составит труда справиться с ней. Диктатору, вечно опасающемуся потерять власть, было крайне важно иметь такого начальника службы безопасности и личной охраны, на которого можно положиться.

Продолжение следует.



■

Девятый, или, если по-новому, десятый класс, как говорят учителя, самый сложный. К старым предметам прибавились новые: информатика и вычислительная техника, начальная военная подготовка, этика и психология семейной жизни... Меня, признаюсь, сразу заинтересовал этот последний предмет.

Скромный зеленый переплет и громкое название: «Хрестоматия по этике и психологии семейной жизни» — ага, вот где найду я ответ на тысячи вопросов, давно интересующих меня, как и многих моих сверстников. Правда, первые страницы я сразу же пропустила. Зато за главу «Кризис американской семьи» я зацепилась сразу. Еще бы, едва ли не первый абзац гласил: «Кризис семьи. За этими двумя словами миллионы и миллионы судеб людей и, к сожалению, не только взрослых. Семья — это и дети, которые не виноваты в том, что появились на свет в Соединенных Штатах Америки...» И мне стало до слез жалко несчастных американских детей. До того, что захотелось разбить копилку и отправить свои скромные сбережения в адрес какого-нибудь фонда помощи американским детям.

Дальше автор познакомил меня с факторами, послужившими основой кризиса и распада американской семьи. Это, конечно же, буржуазные отношения. И в доказательство привел сюжет из документального фильма, снятого немногим более десяти лет назад режиссером Крейгом Джилбертом.

Средняя типичная американская семья Лаудов. Описана она довольно мрачными красками. Даже о том, что у семейства — загородный коттедж с бассейном, автор главы отзывается пренебрежительной скороговоркой. Не в этом, мол, счастье...

А я вдруг вспоминаю серые, однотипные квартиры, в которых ютятся наши средние семьи, и заработки, равные половине пособия по безработице в США, на которые ухитряется жить у нас мать с ребенком.

Потом заходит речь о детях семейства Лаудов, которые «предаются всевозможным порокам... питают отвращение к учебе». И мне сразу приходят на память цифры, опубликованные в одном из последних номеров «Аргументов и фактов». Оказывается, в США в 60-е годы было на 450 тысяч человек с высшим образованием больше, чем в СССР (в абсолютных цифрах), а сейчас — на 5 миллионов.

Не стану перечислять всех бед в жизни семейства Лаудов, о которых идет речь в учебнике: тут и отчужденность детей и родителей, и отсутствие высоких духовных интересов, и страсть к накопительству...

Глава заканчивается такими словами: «...глядя на них, все мы начинаем проникать в печальнейшую из тайн, именуемую американской семьей». Да, наверное, это ужасно — кризис семьи в Америке. Хотя судить нам трудно, мы не бывали в США. Ну, а как насчет того, чтобы рассказать нам, вашим детям, товарищи взрослые, о кризисе нашей, советской семьи, рассказать правду? Зато в хрестоматии все, что касается советской семьи, звучит в превосходных степенях. Семьи наши и высоконравственны, и живут богатой духовной жизнью, и родители любят друг друга и детей, а дети почитают родителей...

А у меня в Москве, между прочим, дядя. Он женат, но жена у него — «приходящая». Живут они отдельно, вместе жить не хотят, так как это усложняет жизнь, детей не заводят, не по карману, говорят. И таких семей, по словам дяди, в Москве очень много. А молодые семьи, которые годами живут в общежитиях, стоят в очереди на квартиру, детский сад? А детские дома, в мирное, а не военное время переполненные брошенными детьми, а юные матери-алкоголички и отцы-наркоманы, а быстро растущая подростковая преступность? Всего этого как будто нет.

Неужели же мы не доросли еще до правды? И не полезнее ли нам изучать, какие трудности ждут нас, какие проблемы привели к кризису нашей, советской семьи, чем по дурной привычке остро критиковать буржуев?

Взрослые, вы же сами учите нас лгать и лицемерить, скрывая правду, рисуя все в розовом свете. И сколько потом будет сломанных судеб и разочаровавшихся во всем людей!

Хрестоматия эта выпущена в 1986 году, готовили ее, наверное, еще до перестройки. Какую пользу получим мы от растиражированной в огромном количестве лжи?

И кстати, еще один вопрос. Американские дети тоже, как и мы, изучают вычислительную технику «на пальцах», с малых лет учатся держать оружие в руках и исследуют на уроках причины кризиса семьи в других государствах? Или у них все это как-то иначе?

Наташа ТОНКОПРЯДЧЕНКО,
10 «Б» класс, средняя школа № 2
г. Шевченко Казахской ССР



ЧУВСТВО ОТВОЕВАННОЙ СВОБОДЫ

Дня через два по Москве поползли слухи, что запрет выехать на концерт с Караяном — результат письма, написанного Климовыми. К сожалению, письма я не увидел, зато многие были знакомы с его содержанием. Более того, копия письма ходила по рукам государственного оркестра. В этом письме меня обвиняли в том, что я собираюсь удрать и что обязательно совершу это после концерта с Караяном. Супруги Климовы просто умоляли не выпускать меня за пределы страны, обвиняя во всех смертных грехах, от гомосексуализма до наркомании.

— Насколько я понимаю, это были ваши тесть с тещей?

— Помните, я говорил вам о попытках Климовых создать семейный оркестр и моем нежелании сделать это. Так вот, через пять-шесть месяцев после нашей свадьбы Климовы, осознав окончательно, что я не буду выполнять то, на что они надеялись, начали действовать через дочь. Как я выяснил позже, они угрожали ей, что если она со мной не расстанется, то они сделают все, чтобы она не поступила в консерваторию.

— И все равно мне непонятно, зачем они это сделали?

— Я думаю, нужно рассказать об одной истории, которая до сих пор не расследована. Во время гастролей с государственным оркестром семейная пара Климовых была задержана на таможне с массой недекларированных вещей. Я находился на гастролях и даже не слышал об этом происшествии. Намного позже я выяснил массу подробностей, в достоверности которых сомневаться не приходится. Сразу после происшествия связались с Демичевым, который, недолюбливая эту пару, сказал: судить по советским законам. На следующий день должно было состояться партийное собрание, на котором Климова собирались исключать из партии.

Партсобрание отменили. Видимо, и Демичев получил нагоняй, потому что, когда жена Рихтера напомнила ему об этом случае, он раздраженно отмахнулся. Позже, когда я начал самостоятельно заниматься расследованием этого дела, то стало вырисовываться истинное лицо этих людей. Мне удалось достать письмо Климова западному импресарио, в котором он недвусмысленно намекал, что собирается попросить политическое убежище за границей, то есть совершить то, что они инкриминировали мне. Кроме этого, я выяснил, что эта пара на протяжении долгого времени занималась продажей и контрабандой бриллиантов. Самое интересное, что я долго не мог понять, почему люди, давшие мне информацию, панически боялись Климовых. Рассказав кое-какие подробности о Климовых, одна дама, потом просто рыдая, умоляла меня никому об этом не рассказывать, уверяя, что это погубит ее сына, учившегося в консерватории. Вы знаете, я и сам долго отказывался верить в причастность Климовых к этой истории, но чем больше поступало информации, тем более зловещей становилась роль этих людей. Самое главное, я не мог понять, откуда у них такая власть над людьми, такая сила, которая нагло и безнаказанно позволяла совершать такие поступки. Тогда никто не догадывался об окружении Брежнева. О Брежневе знали, что это старый, выживший из ума маразматик. Но все, что касалось его дочери, было тщательно скрыто. Как я понимаю, Климовы были напрямую связаны с Галей Брежневой. Сама Бобринева о своих контактах с семьей Брежневых не говорила, но однажды в минуту откровенности, еще задолго до скандала, она заявила, что у нее есть один телефонный номер, по которому можно решить любые проблемы. Это был телефон Гали Брежневой. Вот тот ключ, который объясняет, почему обычный донос привел к таким последствиям.

Знаете, когда складывается такая ситуация вокруг человека, многие начинают его по инерции топтать. Выслуживались мелкие чиновники. Руководство филармонии, видимо, не разобравшись, в чем дело, решило на всякий случай не выплачивать заработную плату, и я оказался без денег.

Я не был готов к такому повороту. Без объявленных обвинений меня наказывали. В какие только инстанции я не обращался, чтобы прояснить свою судьбу. Я обращался к зам. министра культуры Барабашу, но он постоянно обманывал. У вас все в порядке, через два месяца вы возобновите свою работу, говорил Барабаш. Через два месяца так же уверенно он сообщал, что заручился поддержкой в ЦК и через полгода, ну, максимум через год все будет нормально, а пока вам, товарищ Гаврилов, нужно восполнить пробел, поездить по глубинке — дать концертов 50—60. При этом он прекрасно знал, что я не то что 50 — пяти концертов сыграть не могу — из-за болезни. Приступы начинались внезапно, и после каждого я, как правило, две недели отлеживался, не в состоянии подняться. Отчаявшись, я даже решился на то, чтобы обратиться в КГБ, и позвонил своим старым знакомым. На этот раз я встретился с одним Сережей. На мою просьбу объяснить, что произошло и насколько серьезно мое положение, Сережа обещал кое-что рассказать только в обмен на мое заявление о добровольном сотрудничестве с КГБ. Я находился в таком состоянии, что достал из папки, как сейчас помню, лист бумаги в клеточку и написал: «Я, Андрей Гаврилов, добровольно сотрудничаю с Комитетом государственной безопасности», расписался и поставил число. Не успел я оторвать ручку, как Сережа вырвал из моих рук заявление и, не попрощавшись, довольный, поспешно удалился. Неужели все эти годы они добивались только того, чтобы я написал им такую бумагу? Сложнее всего и больнее было со знакомыми. Они покидали меня один за другим. Это была та последняя капля, после которой я понял, что жить мне осталось недолго.

— Неужели вас покинули все?

— Нет. У меня были две знакомые. Одна была японка Хидеко, а другая — югославка Аида. Обе учились в Мерзляковском училище. Я помогал им готовиться к вступительным экзаменам

Начало на стр. 5

в консерваторию. Девушки, видя мое положение, помогали, чем могли. Больше всего меня потряс мой продюсер, о котором столько допытывались Геннадий Иванович и Сережа. Каждый год с 1979 года он выпускал по одной моей пластинке, как бы напоминая о том, что я жив. При этом он расходовал больше денег на рекламу, чем выигрывал от продажи. К сожалению, у музыкального мира плохая память. Иногда года достаточно, чтобы забыть даже маститого музыканта.

— За пластинки вы, наверное, что-то получали?

— С каждой пластинки я получал всего 5 или 6 пенсов, и то эти суммы продюсер оформлял как карманные расходы. Вся прибыль поступала в «Международную книгу». Если бы не эти девочки, которые имели возможность выезжать за рубеж и привозить мне эти деньги, я бы и этого не имел. К тому времени я распродал практически все, что было возможно. Однажды вечером, когда мы сидели и занимались, в дверь квартиры позвонили. Я открыл и с удивлением увидел там участкового, который протянул мне какой-то документ. Я начал судорожно читать, плохо понимая, о чем идет речь. Это было уведомление о нарушении порядка проживания иностранцев в городе Москве. Я должен был подписаться под словами, смысл которых заключался в том, что, если еще раз в моей квартире будут находиться иностранцы, я потеряю московскую прописку. Когда милиционер ушел, я понял, что с потерей московской прописки я лишусь даже своего угла. И тогда, видя мое состояние, одна из девушек, Хидеко, предложила мне стать ее мужем, фиктивным, конечно. Так я женился второй раз. Хидеко была дочерью банковского сотрудника японской фирмы, работавшего в Москве. Если до женитьбы я несколько раз был у нее дома, то после свадьбы мне побывать в гостях у супруги не удалось. Хидеко и ее родители жили в доме для иностранцев, который, естественно, охранялся. После того, как мы расписались, я отправился туда. «К кому идете?» — остановил меня милиционер. «К своей жене»,— отвечаю. «Не положено». «Как это не положено? — спрашиваю.— Я вам могу паспорт показать, что я иду к своей жене». «Я и так знаю, кто ты. Ты — предатель Гаврилов. Если сделаешь шаг, буду стрелять». Он действительно стал расстегивать кобуру, и я ретировался. Вскоре после этого случая отца Хидеко, обвинив в шпионаже, объявили персоной нон грата.

— Ну, а может, он действительно был шпион?

— Да перестаньте вы. Он прожил у нас года три, получил разрешение на продление командировки, и через месяц вдруг персона нон грата.

— Ну, а может быть, это была ответная акция. Японцы кого-нибудь выслали?

— Нет. В том-то и дело, что это была односторонняя акция нашей страны. Кстати, с Хидеко и ее родителями мы довольно часто сейчас встречаемся в Японии.

— Вы хотите сказать, что их высылка не что иное, как стремление придавить вас?

— Я ничего не хочу сказать. Но не кажется ли вам, что при таком стечении обстоятельств невольно напрашивается вывод. Тем более, что вскоре после отъезда Хидеко меня вызвал Барабаш и намекнул, что мой опрометчивый брак мешает процессу урегулирования. Я связался с Хидеко, и она прислала из Японии необходимые бумаги. Мы оформили развод. Думаю, в загсе до сих пор хранится заявление с иероглифами. Барабаш меня снова обманул. Никаких изменений не произошло, а до меня стали доходить слухи, что я похоронен раз и навсегда. И тогда я решил уехать из СССР.

— И вы уехали?

— Нет, я не уехал, хотя феодальная система крошила меня. Я чувствовал, что близок к гибели. После последнего приступа отнимались ноги, и мне заново пришлось учиться ходить. Но больше всего угнетала мысль, что я деградирую как музыкант. Мое имя предавалось забвению, а в голове постоянно рождалось огромное количество музыкальных идей. Я понимал, что никто, кроме меня, не сможет их воплотить. Я не успел уехать. Я встретил Наташу.

— Это была любовь с первого взгляда?

— Мы были знакомы уже 17 лет. Впервые мы встретились, когда мне было 16, а ей 13. Мы очень долго сохраняли нашу дружбу. Тайно встречались, даже тогда, когда родители запрещали. Моя мать, человек с очень сильным характером, тогда настояла на своем. Она утверждала, что наш брак с Наташей не может иметь будущего.

— Почему?

— Дело в том, что отец Наташи был заместителем министра торговли, затем председателем Государственного банка. Мать считала, что у меня должна быть жена моего круга или по крайней мере имеющая отношение к музыке. Ее позиция привела к конфликту с родителями Наташи.

Когда мы снова увиделись, я узнал, что Наташа несчастлива. Брак ее не сложился. В общем, так получилось, что в какой-то момент мы поняли, что, как два падающих дерева, можем друг на друга опереться. Мы очень много проговорили. Наташа убеждала меня, что все образуется. Я же чувствовал, что все попытки будут тщетными. Правда, мне так не хотелось еще раз ее потерять, что вскоре мы с Наташей поженились, что тоже было своеобразным подвигом. Нам пришлось уговаривать и моих и ее родителей по второму разу. Только если 17 лет назад мы были молодыми и несмышлеными людьми, то сейчас каждый из нас имел биографию. Даже не знаю, как смогла убедить Наташа своих родителей. Я был не тот подающий надежды юноша, а человек вне закона, с клеймом антисоветчика. И, пожалуй, с этого момента начался совершенно иной, не менее драматический отрезок времени.

— А какой это был год?

— 1984-й. Умер Брежнев, умер Андропов. Многие резолюции, видимо, на моем деле потеряли силу. Наверное, поэтому мне разрешили в 1984 году выехать в социалистические страны. С этого времени каждый свой выезд я использовал для записи новой пластинки, потому что запас ЕМИ полностью истощился. Сделать это было не просто. Дело в том, что Госконцерт мог разрешить командировку только для выступления. А запись могла организовать только «Международная книга», которая не обладала правами оформления выезда. Таким образом, мне приходилось выезжать с концертами и одновременно заниматься записью. Двойная нагрузка. При том состоянии здоровья, в котором я находился, это было очень утомительно.

В принципе все складывалось как нельзя лучше. У меня проходили интересные гастроли, я сделал кучу новых записей. Мне даже по состоянию здоровья разрешили ездить вместе с Наташей. В любой момент мог прихватить приступ, а в таком состоянии сам себе укол не сделаешь. Вроде бы все было нормально, но я понимал, что, несмотря на огромный объем работы, всего этого мало, чтобы не только восстановиться, но и пойти дальше.

— Не слишком ли много вы хотели?

— Много, конечно, много. Но музыка — это дело моей жизни, ради нее я готов был поступиться многим.

— Однажды я услышал, как музыкант в порыве гнева произнес следующую фразу: «Если вы не пойдете мне навстречу, я поступлю, как Гаврилов в Лондоне». Что же все-таки произошло в Лондоне в 1985 году?

— В 1985 году «Международная книга» подписала контракт с ЕМИ на создание двух пластинок. В первую входили четыре баллады и вторая соната, во вторую — двадцать четыре этюда Шопена. На все про все давалось две недели. Я вижу, вас эта информация не взволновала. Любой же профессионал, услышав, какой объем мне предлагали проделать за две недели, схватился бы за голову. Дело в том, что двадцать четыре этюда Шопена — это пробный камень для пианиста любого масштаба. За сто пятьдесят лет со дня написания этого цикла с ним справились только единицы.

Я сразу понял, что две недели — срок нереальный. Я записал одну пластинку. Когда приступил ко второй, мной овладело отчаяние. Времени совсем не оставалось, а эти этюды были моим больным местом. Дважды я пытался записать их в Союзе, и дважды ничего не получалось. Даже пластинка была готова, но когда я прослушал ее, то понял, что этюды не получились. Не было глубины, изящности. Я, кстати, очень благодарен сотрудникам фирмы «Мелодия» за то, что они по моей просьбе вынули уже почти готовую пластинку из производства.

— Неужели это так сложно?

— Конечно, Шопен был виртуоз феерический, но я сомневаюсь, что он играл все, что написал. Мне кажется, Шопен ставил сверхзадачу. А мне нужно было решить эту сверхзадачу всего за несколько дней. Я почувствовал, что это нереально да и не профессионально. Мы долго с Наташей обсуждали наше положение и пришли к выводу, что необходимо кардинально менять нашу жизнь.

— Не кажется ли вам, что и вы перед собой поставили сверхзадачу, причем невыполнимую?

— Нет, это не сверхзадача. Это нормальное желание жить в полную силу, быть самим собой.

Вы говорите: сверхзадача. А хотите, я вам примерно набросаю план, что со мной произошло, если бы я не останавливался, не задумывался? Я бы исправно ходил в филармонию, занимался общественной жизнью, дожидаясь присвоения очередного звания. Кстати, я знал, что документы уже готовы и не за горами новое повышение по музыкальной иерархической лестнице. Как военный, от звания к званию, я бы ездил, как любят выражаться функционеры, по глубинке и давал концерты для галочки.

— Что вы имеете в виду?

— Не секрет, что существует много точек (тоже слово министерское), где нет подготовленной публики, хорошего инструмента — условий, просто необходимых для классической музыки. Глубинка — это значит бренчать на пианино, из которого лезут мыши. Бывало, и молоток из струн вытаскивал. Однажды я проехал по Золотому кольцу. Сначала — Иваново. Кстати, там играть просто приятно. Хорошая публика, приличный инструмент, я туда несколько раз потом приезжал. Следующим пунктом в моем расписании была Кострома. До Костромы добирался на автобусе. Автобус опоздал, поэтому в городе никто не встретил. «Где тут у вас филармония?» — спрашиваю диспетчера на автовокзале. «Да у нас, милок, филармония давно сгорела». Потом я все-таки нашел людей, которые были связаны с филармонией. Надо сказать, что я привез очень сложную программу. Позднего Скрябина. Специфическая музыка, требующая прекрасного инструмента. В конце концов выяснилось, что мне придется играть в медицинском училище, на пианино. Когда я попытался возмутиться, представитель филармонии удивился: «А что вы беспокоитесь? Зато мы вам номер с холодильником даем». Я понял, что профессиональный концерт состояться не может, сел в автобус и уехал.

— Ну, а если бы вы были прославленным Гавриловым, вас бы, наверное, по-другому встретили в Костроме?

— Вряд ли. Все решает не имя и популярность, а соответствующее положение в иерархической лестнице. Тогда бы меня встретили хлебом и солью, поселили в обкомовской гостинице, кормили бы в спецстоловой. Кстати, про столовую я сказал не случайно, потому что во многих городах просто негде поесть. Сейчас, когда я большей частью передвигаюсь на машине и даю по пути концерты, то постоянно сталкиваюсь с тем, что в городах трудно найти место, где можно было бы перекусить. Вот, например, Минск. Чудесная публика, отличная филармония, но совершенно негде поесть. Однажды, в день концерта, моя жена носилась по Минску по всем магазинам в поисках продуктов. Попасть удалось только в ресторан при гостинице «Беларусь». Про еду я забыл. Меня поразили красные пьяные тупые лица, табачный туман и вместо музыки грохот. Мне показалось, что это ад. Нельзя так жить. И нельзя не замечать, потому что это заставляет обращать на себя внимание своей агрессивностью. И здесь не поможет ни чудесный зал, ни самый теплый прием публики. Не могут два таких разных мира существовать рядом.

— Вы мне напоминаете иностранца, который в ответ на вопрос, как вам понравилась наша страна, начинает методично перечислять все, что ему не понравилось?

— Я не иностранец, и именно поэтому мне небезразлично, что происходит у нас с культурой.

— Вы знаете, я вдруг на минуточку подумал: а не было бы доноса Климовых? Удержались бы ваши идеалы под воздействием дождя медалей, наград, подобострастного почитания? Представляете, вас бы все время показывали по телевизору и утром, и днем, и вечером?

— Знаете, мне трудно себя представить другим. Думаю, что я не смог бы так существовать. Что же касается телевидения, то я категорически против засилья одного персонажа в ущерб всей культуре. Представьте, что вас все время будут кормить мороженым. Я очень хорошо помню, какое раздражение в 70-х у меня вызывали Лев Лещенко и Валентина Толкунова, которые пели по всем общесоюзным программам. Они прекрасные, отличные профессионалы, но я их видеть не мог. А совсем недавно включил телевизор и случайно попал на «Песню-89» и обнаружил, что мне было приятно слушать Лещенко, выступавшего вместе с молодыми ребятами. Разные направления в музыке, разные жанры. Как ни странно, мой антагонизм сразу исчез, потому что телевидение просто дало всю палитру. Разве же это хорошо, когда существует плюрализм. Какой угодно — музыкальный, политический. Ужасно себя ограничивать. Ограничивать себя нужно в пороках. А для этого у нас есть библия, есть вещи ценные и непреходящие. На мой взгляд, отсутствие плюрализма в искусстве, в научном или политическом направлении — это стагнация, это смерть. Это все равно, что отсутствие кровообращения.

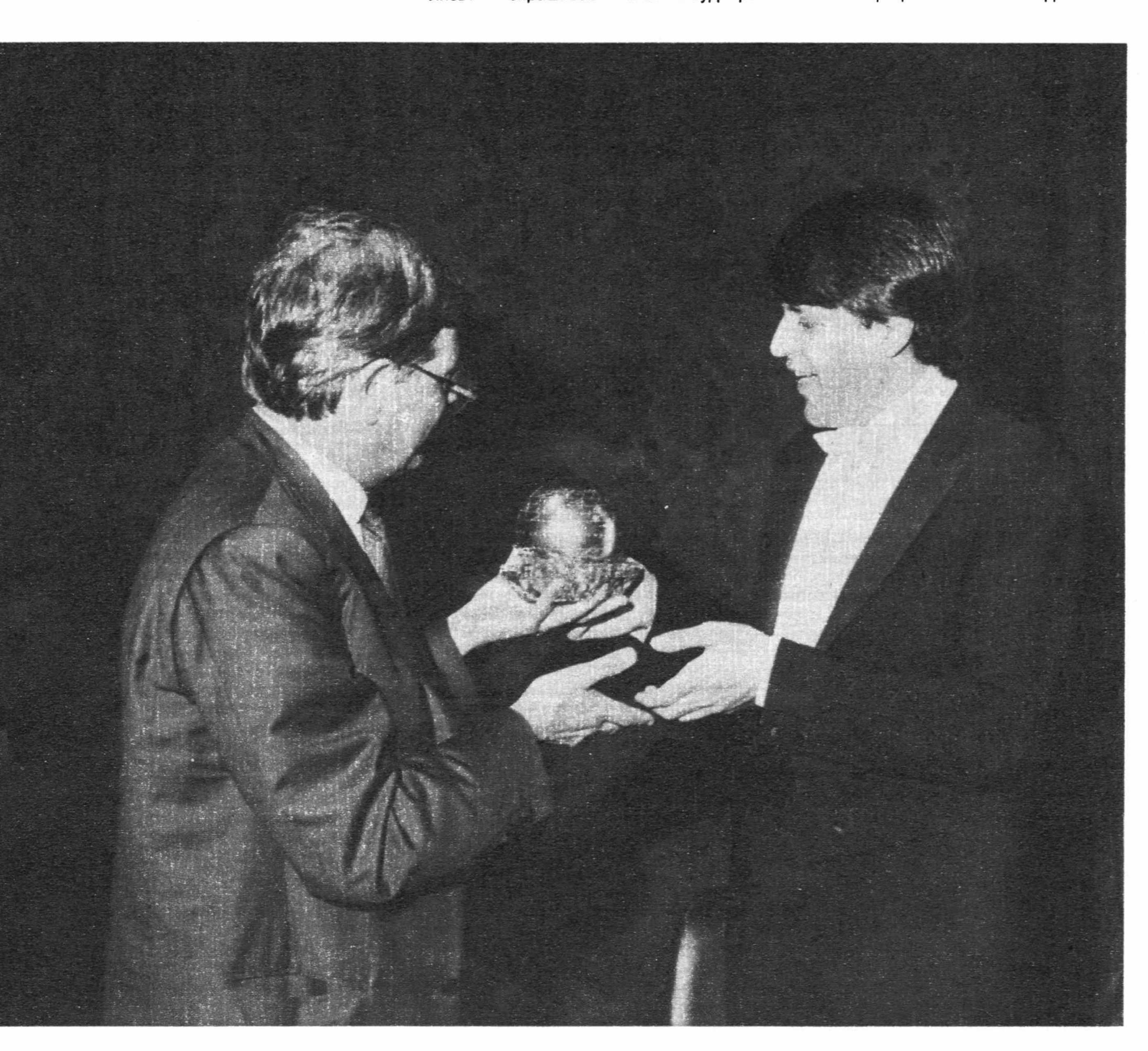
— И поэтому в 1985 году вы...

— Я принимаю решение продлить свое пребывание в Англии.

Сиена.
Церемония вручения приза лучшему пианисту 1989 года.
Газета «Таймс»:
«Гаврилов играет виртуозно, с поразительным техническим блеском, но при этом в полную силу — глубоко и прочувствованно. Звучит внутренняя тема произведения. Его исполнение очень сценично и вместе с тем проникнуто подлинной естественностью.

— Вы попросили политического убежища?

— Нет, ни о каком политическом убежище речи быть не могло. Я попросил разрешения заняться своей карьерой. Я понимал, что этим шагом мы наносим удар по нашим семьям. Но я также понимал, что, если мы вернемся домой, я просто загнусь, не выдержав унижений, которым подвергался постоянно. Дело даже не в Министерстве культуры или Госконцерте. Могли унизить при утверждении характеристики в райкоме или на выездной комиссии. Почему вы столько раз женились? — спрашивает какой-нибудь розовощекий товарищ, даже не догадываясь, что для того, чтобы ответить на этот вопрос, я должен рассказать всю жизнь.



Это настоящий артистизм, требующий достаточной смелости, чтобы дойти, казалось бы, до предела возможного».

Газета «Лос-Анджелес Геральд Икзэминер»:
«Достаточно было прозвучать первым аккордам баллады Шопена, как стало ясно, что Гаврилов — один из неповторимых пианистов, кто превращает каждую ноту в событие, кто заставляет слушателей с нетерпением ожидать следующих музыкальных фраз. Одним словом, он — сенсация».

В Лондоне мы жили в маленьком домике нашего торгпредства (аванса, который выплатила «Международная книга», не хватило бы даже на то, чтобы снять номер в гостинице на неделю). Мы все время думали. Наташа перестала есть. Ей казалось, что ее родители не выдержат, что разверзнется земля и они оба упадут мертвые. И в то же время она понимала: другого выхода нет. И тогда я написал письмо Демичеву. Я старался объяснить, что мне необходимо поправить свою карьеру, что за пять лет простоя ей был нанесен тяжелый урон. Я просил только одного — год пробыть за рубежом и затем вернуться домой. Первый, кто узнал эту новость, был мой продюсер Джон Вилла. Он пришел в ужас, схватился за голову. «Боже, я никогда не думал, что ты это сделаешь». «А ты что же думал, что я не могу так поступить?» — разозлился я. «Да нет, конечно, мог, но я бы никогда тебе этого не посоветовал». Прошло несколько дней, ответ не приходил, и тогда мы решили, что необходимо связаться с МИДом Великобритании. Английская виза кончалась. Джон через своего адвоката нашел в этом ведомстве нужного человека. И тут мы пережили самый настоящий шок. Нам казалось, что империалисты страшно обрадуются нашему решению и полностью его поддержат. Все произошло наоборот: представитель министерства начал нас сразу же отговаривать.

— Просто к вам послали хорошего актера?

— Может быть. Но тогда это высочайший профессионализм. Единственно, я его попросил не сообщать прессе о моем решении.

И все же на пятый день газеты взорвались заголовками. Меня называли перебежчиком, невозвращенцем и так далее. А я сидел как проклятый и ждал ответа из Москвы. Хоть какого-нибудь. Хоть положительного, хоть отрицательного. И в это время умирает Черненко и Генеральным секретарем ЦК КПСС становится Горбачев. Я решился на крайнюю меру и написал ему письмо. К счастью, оно дошло. За день до того, как истек срок разрешенного пребывания в Великобритании, я получил разрешение остаться на один год.

— Скажите, неужели с вами не пыталось связаться советское посольство?

— Советское посольство требовало от английской стороны немедленного свидания. Но я настолько был напуган, что боялся встречаться. Однако англичанин, поддерживавший с нами связь (к тому времени мы жили под Лондоном), уговорил нас встретиться с представителями посольства, обещая полную защиту. Мне же казалось, что нас схватят и в мешках вывезут в Москву. Встреча состоялась в конторе адвоката моего продюсера. В сопровождении двух машин мы подъехали к офису. На углу около дома стояла еще одна машина, в которой явно сидели представители секретных служб. Кроме того, по улице прогуливалось очень много подозрительных влюбленных парочек. Не прошло и нескольких минут, как в контору вошли два сотрудника посольства. Один из них — атташе по культуре, другой — первый секретарь. Они старались не смотреть на меня и вели себя очень агрессивно. Я поздоровался, англичанин включил магнитофон. В комнате находились адвокат, представитель МИДа, и переводчик, который, как оказалось, совершенно не понимал, о чем мы говорим. После мне пришлось все заново переводить с русского на английский.

— Видите, у английских секретных служб тоже проколы бывают.

— Первым начал атташе по культуре. «Что, лавры Горовица покоя не дают?» Я, стараясь сдерживаться, отвечаю, что русская школа теряет свой авторитет, что я бы хотел развиться до мирового уровня.

— А это правда, что русская школа теряет авторитет?

— Раньше, в 60-х, когда за рубежом появлялся русский, залы были набиты битком. Сегодня же все концертные залы, все абонементы забиты русскими фамилиями. Гаврилов ты или Иванов, на тебя никто не пойдет, если твои пластинки, твой уровень не известны. Примерно то же самое я сказал и тогда. Не знаю, удовлетворил ли мой ответ посольских работников. По крайней мере, отпали обвинения, что нас опоили. После встречи мы с Наташей вышли из укрытия и поселились на маленькой улице.

— Как отреагировали ваши родители?

— Это была катастрофа. Наташины родители настаивали на немедленном приезде Наташи. Они писали, что ребенок без мамы скучает. И в какой-то момент Наташа не выдержала и стала собираться. Но я порвал ее авиационный билет. Мы отвечали на все письма, просили понять.

Началась наша новая жизнь. Мы полетели в США. Это было очень важно, потому что без Америки большую карьеру не сделать. Знаете, как в музыкальном бизнесе. Европа смотрит на Америку, Америка — на Европу. Европа — на Японию. Япония — на всех остальных. Если за год не объехать золотой треугольник, в музыкальном мире возникают сомнения, все ли у тебя в порядке. Кроме того, Америка сильна оркестрами. Правда, они сейчас банкротятся один за другим. Как выйдет Америка из этого кризиса, покажет только время. Еще нужно появляться в таких газетах, как «Нью-Йорк таймс», «Вашингтон пост», и раза два, как минимум, выступить в «Карнеги-холл». Таковы правила международного музыкального бизнеса.

Мое первое выступление должно было состояться в «Карнеги-холл». Один из известнейших пианистов отменил огромный тур, который расхватывался всеми пианистами. Мне, к счастью, перепало изрядное количество концертов, поскольку мое имя помнили и американцы хотели со мной познакомиться. Не обошлось, конечно, без приключений. Заложив часы, я нанял автомобиль, на котором благополучно заблудился и уехал в другой штат. Пришлось гнать всю дорогу, чтобы не опоздать на выступление. Можете себе представить, в каком состоянии я вышел на сцену. Не знаю, как я играл, но под конец выступления зрители встали.

— Кто организовал вставание?

— Не знаю, но это очень приятно. Хочется еще лучше сыграть.

— Вы давали интервью газетам?

— Нет, ни одного.

— Но ведь газеты продолжали о вас писать?

— Газеты достаточно быстро успокоились, потому что я сразу же опроверг их высказывания. Правда, никто не хотел идти на попятную, и появились следующие сообщения: несмотря на то, что Гаврилову разрешено остаться в Англии, это все равно прелюдия к политическому убежищу.

После выступления в Нью-Йорке я улетел в Сан-Франциско и только там узнал, что собрал хорошие рецензии. После Сан-Франциско мы вернулись в Лондон. Наташе надо было ехать в Москву. К тому времени я присмотрел квартирку, подписал контракт с фирмой ЕМИ и начал вникать в тонкости бизнеса. Вы не поверите, но я чувствовал себя другим человеком. Даже приступы прекратились. Последний раз тряхнуло в США. Не знаю даже, как передать мое ощущение. Наверное, это было чувство отвоеванной свободы.

Наташа улетела в Москву. Я начал ремонт квартиры. После того как у меня был опыт в строительстве дома, это было довольно легко.

— Вы что, умеете строгать, пилить, стены красить?

— Это не проблема.

— А шкафы построить?

— Ну это элементарно. Сварка намного труднее. Особенно чтобы пузыриков не было. Самое трудное — варить нержавейку. Я, когда бойлерную делал, намучился. Не удивляйтесь, среди музыкантов очень много рукастых людей. Ростропович мог тоже все. Кстати, дворники на автомобиле придумал Гофман — великий пианист. Наше племя далеко не белоручки.

Я с упоением делал ремонт. Наташа должна была приехать через десять дней, на мой день рождения. Звоню в Москву в очередной раз и слышу что-то не то. Наташа говорит, что все нормально, но в то же время сообщает, что приехать вовремя не может. Оказалось, ее держали в качестве заложницы, напугав, что если она хоть одно слово скажет, то будет хуже. До сих пор не могу понять, зачем им это было нужно. Создавалось такое впечатление, что система продолжала делать все, чтобы вырвать из меня какое-то антисоветское заявление. Противоборство продолжалось бесконечно. Причем, я думаю, на очень низком уровне и просто ради перестраховки. Снова начались переговоры. На этот раз вмешался ее отец. В конце концов Наташу выпустили, связав жесткими обещаниями приехать через строго определенное время.

Но дата была просто невыполнима. Конечно, она нервничала. А тут еще я получил приглашение из Израиля, и она перепугалась до смерти. Но я мечтал увидеть Израиль. Во-первых, там прекрасные оркестры, а во-вторых, там хорошая публика.

— А Наташа разве антисемитка?

— Нет. Просто у Советского Союза с Израилем нет дипломатических отношений. Она боялась тогда всего. Если я сбрасывал гипсовую кожуру с 18 лет, то ей пришлось это сделать быстрее. Мы все-таки поехали.

Вы не можете себе представить ощущение, когда стоишь над Гефсиманским садом и любуешься панорамой Иерусалима, городом, на который когда-то смотрел Иисус.

— Вы разве верующий?

— Это сложный вопрос. Конечно, я верующий. Я верю в высшие силы, в разум. Но во мне существуют как бы два человека. Один верит, другой все подвергает сомнению. Так я и живу в постоянной борьбе диалектических противоположностей. Я спрашиваю себя, почему на земле так много несправедливости, и не всегда нахожу ответ. Через год мы приехали в Москву на концерт. Нет, страшно не было. Наверное, я перестал бояться.

— У меня такое ощущение, что вы себя уговариваете.

— Вы знаете, хуже, чем было, быть не могло. Болезни были. Страх смерти все время возникал. Ситуация в Союзе очень сложная. На Западе пришлось не сладко. Поверьте, из того положения, в котором я оказался, выстроить профессиональную карьеру было непросто. Помимо этого, меня окружала очень жесткая западная жизнь, в которой я с трудом ориентировался.

— Позвольте, но сейчас только и слышишь, как о Западе говорят, словно о рае земном.

— Да ерунда все это. Примитивный и очень советский взгляд. Советские люди думают, что достаточно выехать за границу, а там просто рай начинается. То ли это воздействие нашей пропаганды, то ли обратный эффект, не знаю. Почти для всех советских людей жизнь за рубежом — фантасмагория. Они ни черта не понимают. Почти все русские чудовищно адаптируются. Во-первых, они не могут сбросить с себя советскую кожу, продолжают толкаться вместе, не порывают со своим кругом, говорят по-русски, плохо осваивают язык. Если это люди известные, то они капризничают, как привыкли капризничать у нас. Они требуют к себе особого внимания. У многих жесточайшее разочарование, полная уверенность, что их не поняли. Не найдя себя, многие сходят на нет. Скатываются в преступность.

— А как быть с рассказами о домах, машинах?

— Наши эмигранты, даже если они очень тяжело живут, не признаются. Срабатывает самолюбие.

— Врожденная русская черта?

— Я думаю, что да. Поразительное эмоциональное восприятие своей собственной судьбы. Русские с повышенным, болезненным интересом рассматривают свою персональную жизнь. Они не могут включиться в жизнь общества, в которое переезжают. У всех советских есть твердое убеждение, что можно наработать определенную сумму, после которой можно ничего не делать. Меня даже сейчас в Москве спрашивают музыканты: «Ну как тебе, уже хватит? Ну ты можешь ни фига не делать?» Если ты заработал миллион, то тебе нужно заниматься этим миллионом, иначе его потеряешь. Наверное, сказочное представление о западной жизни — это порождение нашего иждивенчества. Больших иждивенцев в мире, наверное, нет. Я, когда смотрю «Добрый вечер, Москва!», просто свирепею. Все орут, чтобы им что-нибудь дали. Протекает крыша, кричат «дай», вместо того чтобы поставить кусок шифера. Иждивенчество такое, что просто диву даешься. Вселенское нищенство, причем с претензиями. В чем причина? Не знаю. Может быть, из-за рабства или потому, что сковывалась инициатива. Но так или иначе по таким же принципам наши начинают жить на Западе и жестоко страдают. Кончают, естественно, плохо. Скатываются в пьянство, живут в нищете. На пособие еврейской общины можно купить машину, можно купить две развалюхи, которые будут двигаться. Но отражает ли это положение в обществе? Абсолютно нет. Машины куплены на пособие, квартира арендована — ее никогда не выплатить.

Самое главное — работать, работать. И вся прелесть западной жизни заключается в том, что если ты хорошо работаешь, то ты хорошо получаешь. Советский эмигрант — самый несчастный эмигрант, потому что он самая большая неженка в мире, несмотря на все тяготы здешней жизни. Тянуть лямку в нищете легко. А работать и содержать себя в порядке очень трудно. Даже в относительном. Просто быть в чистой рубашке. В глаженом костюме.

— Вы считаете, что произошла трансформация достоинства?

— К сожалению, это антимир. Извращенная психология, результат смещенных понятий добра и зла. Я не философ и не политик. Я просто отвоевал для себя в этом мире возможность существовать нормально.

ПРОШУ СЛОВА!



КОГДА МЕРТВЫЙ ХВАТАЕТ ЖИВОГО

Владимир ЦВЕТОВ

Рассказывают, что в ту пору, когда академик Андрей Сахаров находился в ссылке в городе Горьком, его жена Елена Боннер однажды отправилась по своим делам в Москву. Едва она вошла в купе, как кто-то из попутчиков, узнавший жену академика, злобно набросился на нее: «Вон отсюда! Я не желаю ехать с вами в одном поезде и дышать одним воздухом!» На шум сбежались другие пассажиры, и в вагоне зазвучал хор негодующих голосов. Боннер спряталась в туалете. Стоило ей выйти оттуда, как хор загомонил с новой силой: «Надо остановить поезд! Она шпионка ЦРУ и что-то выбросила в унитаз! Пусть проверят железнодорожное полотно!» Весь путь до Москвы Боннер провела, запершись в служебном купе — спасибо проводнику. Пассажиры поезда Горький — Москва не были знакомы с выступлениями Андрея Сахарова и Елены Боннер, но не чувствовали ни малейшего сомнения, что академик и его жена — враги и что спуску им давать не следует.

Весной 1917 года «врагом, с которым нельзя дышать одним воздухом», окрестили Льва Каменева. Шло обсуждение кандидатур для выборов в ЦК РСДРП(б), куда выдвигался и этот лидер большевиков. Столь нелестно отозвались о нем некоторые делегаты VII Апрельской партконференции потому, что знали о резкой, порой едкой критике Каменевым взглядов Ленина, сформулированных в «Апрельских тезисах». Знали не с чужих слов. Выступление Каменева против Ленина они слышали на партконференции сами. И тем не менее Каменев стал членом ЦК. За него ходатайствовал Ленин. «То, что мы спорим с т. Каменевым,— сказал Ленин,— дает только положительные результаты. Присутствие т. Каменева очень важно, так как дискуссии, которые веду с ним, очень ценны. Убедив его, после трудностей, узнаешь, что этим самым преодолеваешь те трудности, которые возникают в массах».

Разумеется, нет речи о политической или исторической равнозначности жены академика, хотя и очень уважаемого, и одного из руководителей Октябрьской революции. Сопоставить два факта, тоже, кстати, не самых существенных для оценки нашего прошлого, побудило меня желание явственнее представить два разительно отличающихся друг от друга образа социализма — тот, с «человеческим лицом», который замыслил воплотить Ленин, и тот, с наружностью каменного идола, что получился на деле после смерти Ленина.

* * *

Капитализм наливался силой в недрах феодализма постепенно и долго. Длительный богатый опыт движения человеческого общества к капитализму позволил верно определить основное, что сделало его живучим. Отдельная личность, написал Адам Смит, «имеющая в виду лишь собственную выгоду, как бы направляется невидимой рукой



и содействует осуществлению цели, которая вовсе и не входила в ее намерения. Преследуя собственные интересы, она зачастую содействует интересам общества более эффективно, чем если действительно намеревалась это сделать».

Умозрительно сконструированный облик социализма не мог, естественно, пройти проверку жизнью. Он обладал, конечно, многими научно обоснованными чертами, ведь сочинением облика занимались гениальные мыслители, овладевшие философскими и экономическими знаниями предыдущих эпох. Но было в их теории немало и утопического. У Маркса и Энгельса читаем, например, следующее: при социализме «общество регулирует все производство и именно поэтому создает для меня возможность делать сегодня одно, а завтра — другое, утром охотиться, после полудня ловить рыбу, вечером заниматься скотоводством, после ужина предаваться критике,— как моей душе угодно,— не делая меня, в силу этого, охотником, рыбаком, пастухом или критиком». На ум невольно приходят рассказы писателя-юмориста Михаила Задорнова.

Ленин видел в марксизме не застывшую теорию, а метод для решения ставившихся временем практических задач революции. Он, в частности, указывал: «Не из чего строить коммунизм, кроме как из того, что нам оставил капитализм». Или: «Социализм был бы невозможен, если бы он не научился пользоваться той техникой, той культурой, тем аппаратом, который создала культура буржуазная, культура капитализма». Работа Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов» находилась у Ленина среди настольных.

Благодаря ленинскому подходу к марксистской теории удалось в результате Октябрьского вооруженного восстания и новой экономической политики заложить основы социализма и нацелить общество на уничтожение эксплуатации человека человеком и защиту интересов людей труда. Пришедший после Ленина к власти бюрократический аппарат превратил марксизм в догму. Аппарат счел излишним руководствоваться наукой. На вооружение он взял идеологию.

Облик социализма, набросанный Марксом и Энгельсом, был канонизирован. Теперь уже не представлялось важным соотносить теоретические изыскания классиков с изменяющимися условиями, со здравым смыслом или попросту с житейской мудростью, как это делал Ленин. Не передвигают же на небосклоне путеводную звезду. Однако реальность существовала, не согласуясь с теорией. Тем хуже оказалось для реальности. Ее попытались приспособить к теории. Когда это не получилось, реальность принялись сокрушать.

При нэпе регулятором производства и распределения стал рынок. Но канонизированная аппаратом марксистская догма требовала рассматривать рынок уступкой капитализму. И нэп был свернут. Введены, по меткому замечанию публициста Евгения Старикова, государственное крепостничество под вывеской колхозов и государственное рабовладение в виде ГУЛАГа.

Идеология нуждается в носителе. Она тем действеннее, чем значимей носитель. Постленинский аппарат обрядил в нужные ему идеологические одежды рабочий класс — главную движущую силу революции. Чтобы идеология безупречно работала, рабочему классу был сообщен почти мессианский характер. «Человек проходит как хозяин необъятной родины своей»,— пелось в песне. Человек этот, конечно же, рабочий. Но в действительности носитель идеологии превратился в манекена. Право говорить от имени рабочего класса присвоил себе аппарат. А рабочим внушили, что они «винтики», да так твердо внушили, что рабочие возгордились своим «винтикоподобным» положением.

Сколь ни прилажена к формам манекена одежда, ее пригодность для носки определяют не модельеры и портные, а потребители: люди со стороны. Поэтому аппарату представлялось крайне важным отыскивать независимые от него подтверждения продуктивности идеологии. При всей обильной красоте и яркости рождественской елки мандарины, привязанные к веткам, не являются ее плодами. Но можно убедить людей увидеть мандарины созревшими на елочной хвое. Использовали то, что в психологии именуется «террором среды».

В детском саду девятнадцать порций каши приготовили сладкими, а одну — соленой. «Какая у тебя каша, сладкая или соленая?» — принялись спрашивать у детей. «Сладкая. Сладкая. Сладкая...» — отвечали дети. Когда очередь дошла до ребенка, съевшего соленую кашу, он сказал, что и у него каша тоже сладкая. Обладая монополией на средства убеждения, бюрократический аппарат провозгласил построение социализма. Об этом твердили книги, учебники, газеты, партийные и советские руководители, и штатные пропагандисты с трибун, и киногерои с экрана, лозунги со стен домов. А чтобы хрустящая на зубах соль не освобождала отдельные слои населения и отдельных лиц от власти «террора среды», придумывались разные стадии построения — от «основ социализма» до «развитого социализма». То есть социализм превратили в непрекращающийся процесс.

Пусть вариант социализма, выведенный из догматически воспринятого марксизма, недостижим, поскольку абсурден по своей сути, но процесс-то кажется реальным. Тем более что в ходе процесса построена Магнитка, проложен Турксиб, одержана победа в Великой Отечественной войне, запущен первый в истории искусственный спутник Земли. Достигнуто это благодаря не идеологии, а созидательной мощи трудового народа, разбуженного ленинской политикой, но аппарат сумел отнести этот успех на счет идеологии. Даже Пушкин, Чайковский, передвижники, русский балет, и те трактовались таким образом, что казалось: и тут следует быть обязанным идеологии.

Для утверждения идеологии применялась подмена понятий. Повышение жизненного уровня в капиталистических странах приписывалось исключительно борьбе трудящихся. Путем забастовочной борьбы они вырывали экономические уступки у буржуазии. С другой стороны, нечастое за минувшие семьдесят лет улучшение материального положения советского народа представлялось как доказательство успехов административно-командного социализма. Снижение заработной платы «у них» связывалось обязательно с усилением капиталистической эксплуатации и обнищанием людей труда. Новые же лишения «у нас» неизменно изображались добровольной жертвой советских людей ради конечной победы социализма. Жертва приносилась чуть ли не по просьбе самих жертвователей, как, скажем, перекраивался «по желанию» трудящихся календарь, если дни отдыха не совпадали с праздниками. Когда же не представлялось возможным выдавать за истину ложь «про них» и сравнение «их» жизни с нашей грозило идеологии разоблачением, опускался «железный занавес» и обрубались контакты «с ними».

Экономические законы неумолимы, и идеология не была в состоянии отменить их действие. «Террора среды» оказывалось недостаточно, чтобы черное выглядело белым. В ход пускался террор не метафорический, а подлинный. Идеологии не составляло труда находить врагов открытых — империализм, международный капитал, и тайных — кулаки, диверсанты, «враги народа», на которых сваливалась вина за провалы из-за неподчинения экономическим законам. В отличие от «террора среды», побуждавшего лишь соглашаться с общим мнением, террор власти вместе с экономической политикой, заменившей политическую экономию, и пропагандистским воздействием заставлял общее мнение превозносить, будто глас неба. Отсюда поголовный энтузиазм обитателей бараков, возводивших Магнитку, и беспрекословная и тоже поголовная готовность их потомков, так и не выбравшихся из бараков, к тяжелому труду за ничтожную зарплату ради победы в космической гонке.

Преклонение перед идеологией и игнорирование реальности полностью атрофировало у аппарата желание хотя бы познакомиться с экономическими законами. Идеология застлала глаза, она превратилась в темные матерчатые очки, которые позволяют пассажирам дальнего авиационного рейса мирно дремать, независимо от времени суток. На нашем авиалайнере такие очки прикрыли глаза и пилотам тоже. В результате самолет вошел в штопор. Он рухнул бы в пропасть экономического и политического кризиса, если бы не началась перестройка и за самолетный штурвал не взялись бы люди без очков.

А экономические провалы нужны были аппарату объективно, поскольку бедность представляла для него меньшую опасность, чем богатство. Обилие товаров, разнообразие выбора и, следовательно, возможность иметь именно те товары, какие хочется, обеспечивают человеку самостоятельность. Вслед за ней у человека появляется стремление к свободе в мыслях и поступках. Это и страшило аппарат. Сами аппаратчики были приручены пайками из спецбуфетов и прочими спецблагами. Содержимое пайков по ассортименту беднее полок, к примеру, захолустной токийской продуктовой лавочки. Но подавляющее большинство народа лишено и такого ассортимента. Поэтому аппаратчики грудью защищали идеологию, за что, собственно, и одаривались пайками.

Простой люд стоял в очередях — за колбасой, колготками, ученическими тетрадками, мылом. За год мы проводили в очередях 65 миллиардов человеко-часов. В японской автомобильной фирме «Ниссан» этого хватило бы для производства 2 миллиардов 500 миллионов легковых машин. Выстояв очередь и протянув руку за долгожданным куском колбасы и за вожделенной парой колготок, человек, с одной стороны, был опустошен физически и морально, и мысль о борьбе за лучшую участь у него уже не возникала. С другой стороны, человек испытывал благодарность идеологии и подпиравшему ее аппарату за то, что достались хоть кусок колбасы или хотя бы пара колготок. Идеология господствует, пока владычествует нищета.

На второй встрече в ЦК КПСС видных экономистов, руководителей центральных, республиканских ведомств и трудовых коллективов, народных депутатов СССР М. С. Горбачев упомянул о самозванных, как он выразился, «защитниках» социализма от перестройки. «Перестройку они восприняли,— сказал Горбачев,— как демонтаж не только командно-административной системы, но и социализма вообще». Запуги-





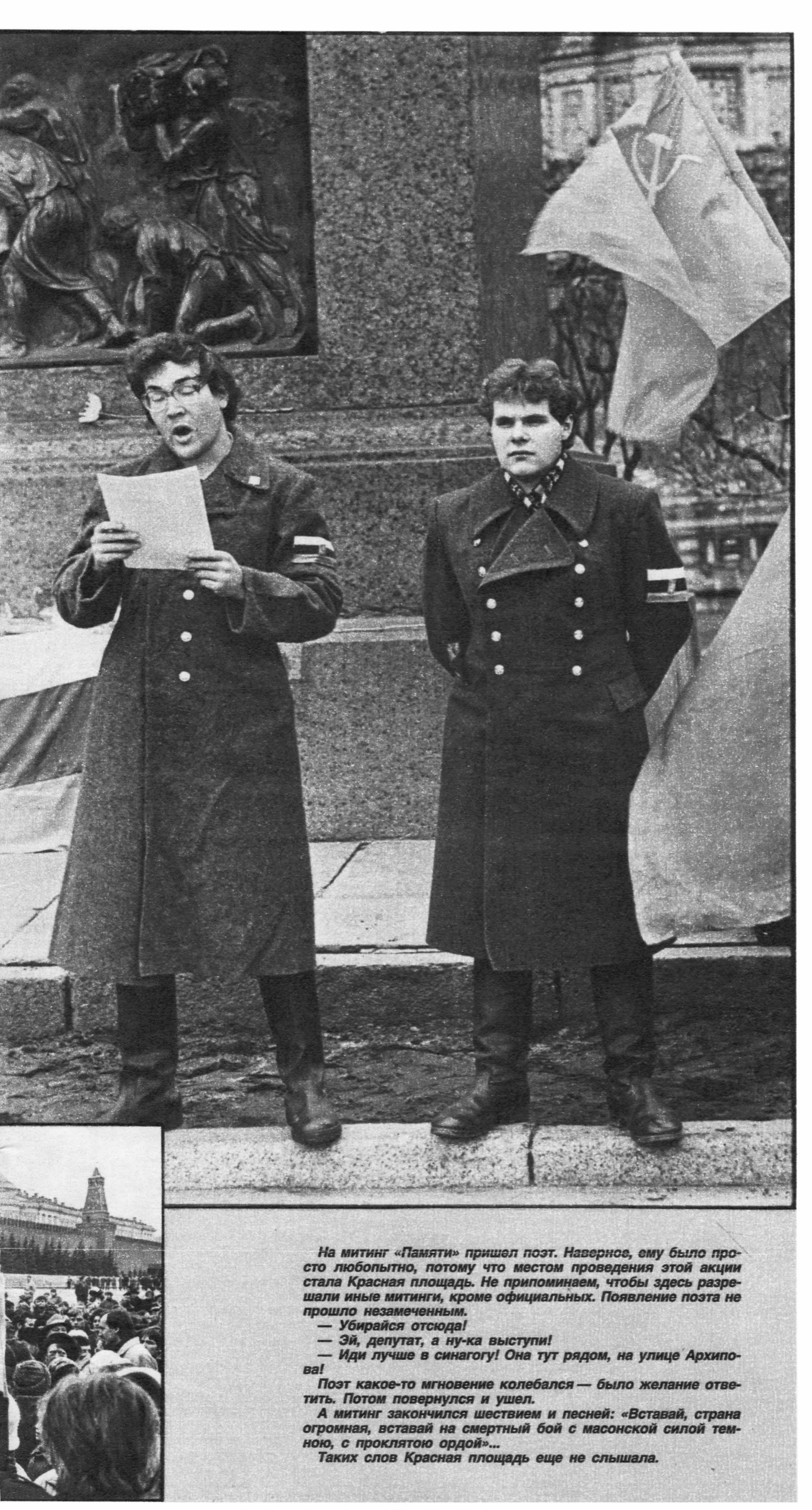
вать возвратом к капитализму потребовалось этим «защитникам» социализма для того, чтобы не допустить в действительности возврата к политической экономии и упразднения догматической идеологии.

Аппарат не желает освобождения партии от идеологических шор и видения ею реальности, какая она есть на самом деле. Он не хочет принятия партией экономических и политических мер, соответствующих реальности и оплодотворенных наукой, начиная от Адама Смита и до Ленина. Аппарат сражается за свое существование. Покуда царствует идеология, властвует и аппарат. Его апелляции к партийному руководству вряд ли следует бояться, так как именно руководство провозгласило перестройку и, надо полагать, от нее не отступится. Гораздо тревожнее апелляция так называемых «защитников» социализма к рабочему классу, ограбленному материально и развращенному духовно за период господства идеологии.

Японии понадобились сорок послевоенных лет, чтобы достичь нынешнего уровня развития производительных сил и нынешнего благосостояния народа. Это были сорок лет напряженного труда. Недаром родился термин «трудоголизм», который приложили к японцам. Мы не можем предоставить себе такой же длительный срок. Мы отстанем тогда от Японии, да и не от одной нее, навсегда. Однако вообразите, что вас, меня, нас всех призвали трудиться с тем же напряжением, с той же интенсивностью, с какими работают японцы. Не исключено, что определенная часть рабочего класса, да и технической интеллигенции заявит: «На кой ляд нужна эта перестройка!» И это будет самый сильный и самый грозный враг перестройки. Ограбленные материально, мы озабочены лишь тем, как обеспечить свои биологические потребности. А они столь ничтожны, что, заполучив кусок колбасы и пару колготок, мы считаем себя на вершине счастья. И работать во имя чего-то еще нас совсем не тянет. Более того, сама попытка заставить работать может вызвать негодование и ненависть. Духовное растление налицо. Мы сделались похожими на люмпенов.

Противостоящая обновлению социализма часть аппарата нащупала эту болевую точку перестройки. Минувшим летом и осенью она впервые надавила на нее. Совершили это ВЦСПС и, в большей степени, МГСПС — те организации, которые еще недавно являлись, как удачно, на мой взгляд, определили западные политологи, филиалами полиции, специализировавшимися на надзоре за рабочими, чтобы те не восстали против идеологии. На митинге в Москве, в Лужниках, МГСПС не пожелал объяснить истинные причины растущих экономических трудностей и не призвал рабочих подняться выше желания удовлетворить первичные потребности. Профсоюзные бюрократы воззвали не к сознанию рабочих, а к инстинкту люмпенов. И успеха добились. На митинге козлами отпущения за трудности перестройки назвали кооперативы. На одном из плакатов значилось: «Нам не нужно правительство, поддерживающее спекулятивную кооперацию». Кому будет навешен ярлык на следующем митинге — интеллигенции, инородцам, неформалам?

В интервью «Огоньку» заместитель Председателя Совета Министров СССР Леонид Абалкин привел обмен репликами с сотрудником своего института. Абалкин охарактеризовал нынешнее положение правительства по сложности беспрецедентным в истории. Сотрудник института подсказал, однако, историческую аналогию: 1932 год в Германии. «Не приведи господь...» — отреагировал Абалкин. Ужаснуться есть от чего. Если аналогия совпадет, то инициаторам и защитникам перестройки, очутившимся в поезде в положении Елены Боннер, не отсидеться в служебном купе. Их вздернут на столбах контактной сети.



На митинг «Памяти» пришел поэт. Наверное, ему было просто любопытно, потому что местом проведения этой акции стала Красная площадь. Не припоминаем, чтобы здесь разрешали иные митинги, кроме официальных. Появление поэта не прошло незамеченным.

— Убирайся отсюда!

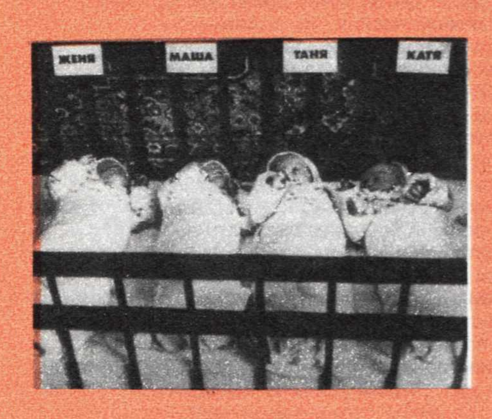
— Эй, депутат, а ну-ка выступи!

— Иди лучше в синагогу! Она тут рядом, на улице Архипова!

Поэт какое-то мгновение колебался — было желание ответить. Потом повернулся и ушел.

А митинг закончился шествием и песней: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с масонской силой темною, с проклятою ордой»...

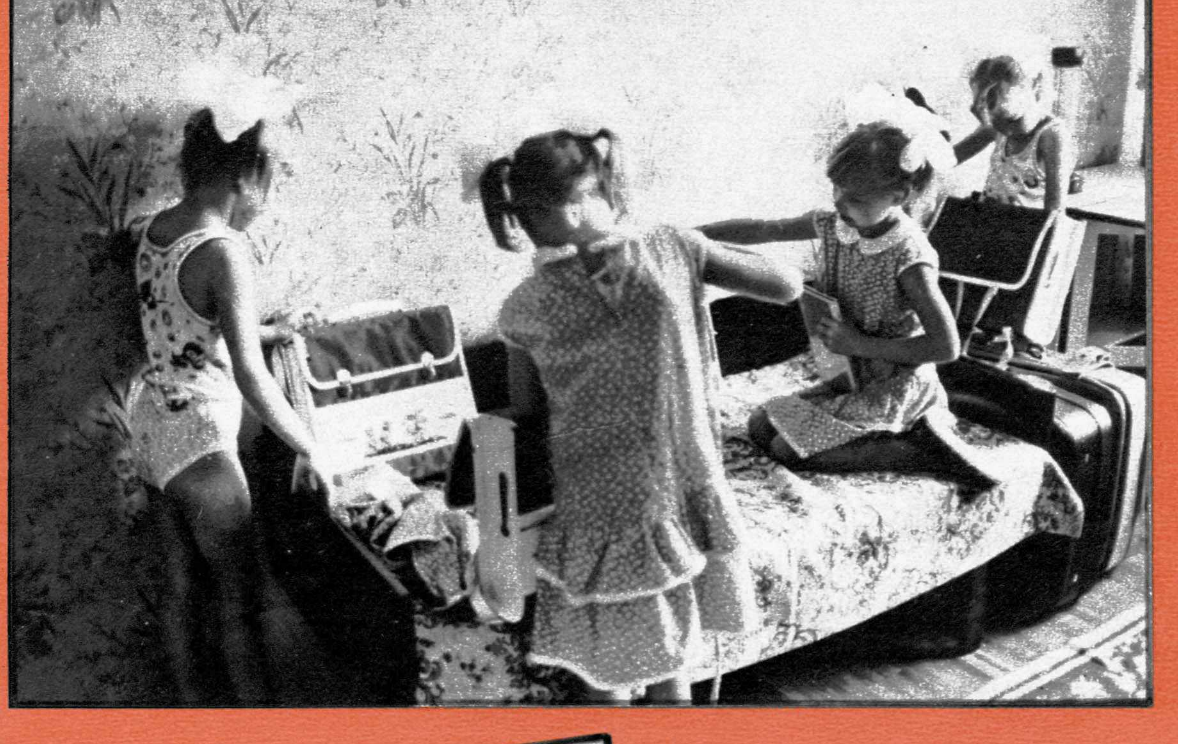
Таких слов Красная площадь еще не слышала.



БЛИЗНЕЦЫ

Кажется,
совсем недавно «Огонек»
(1983 г., № 52)
поздравил москвичей
Евгению и Александра Шашковых
с рождением
четверых близнецов,
а в нынешнем сентябре
Женя, Маша, Таня, Катя
пошли в нулевой класс.
На шесть лет
стали старше
родители девочек,
в семье Шашковых появились
четыре школьницы.
Жизнь продолжается...
Как сложится судьба
этих юных москвичек,
как примет их наш суровый,
противоречивый и сложный мир?
Мы не знаем.
Нам только очень хочется,
чтобы он изменился к лучшему,
стал чище,
светлее и радостнее.
Будущее за поколением,
у которого сегодня
ребячьи заботы,
которое
играет в куклы,
примеривает ранец.
Каждый из нас в ответе
за будущее счастье
наших детей.

Фото Анатолия БОЧИНИНА







ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Способность фантазировать. 8. Вид домашнего рогатого скота в Азии и Африке. 9. Полотнище с изображением герба или эмблемы, прикрепленное к древку. 10. Река в Центральной Африке. 11. Действующее лицо оперы М. П. Мусоргского «Сорочинская ярмарка». 12. Степная птица семейства дроф. 13. Специалист, изучающий явления и свойства света. 14. Южное созвездие. 16. Метод, прием. 17. Создавшееся общее мнение о качествах, достоинстве, недостатках. 22. Сочетание нескольких музыкальных звуков различной высоты. 23. Представитель одного из народов, населяющих Дагестан. 24. Действующее лицо в драме А. П. Чехова «Три сестры». 26. Инструмент альпиниста. 27. Французский писатель, автор детективных романов. 28. Вид гравюры. 29. Стихотворение А. С. Пушкина. 30. Атмосферные осадки. 31. Принцип сценического воплощения произведения.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плод фруктового дерева. 2. Независимость, обладание собственной инициативой. 3. Декоративный кустарник, медонос. 4. Приток Днепра. 5. Скульптор, Герой Социалистического Труда. 6. Актер, главный режиссер МХАТа, народный артист СССР. 7. Архитектор, один из основоположников русского классицизма. 15. Щит, стойка для размещения экспонатов. 16. Звезда в созвездии Девы. 18. Небольшая пресноводная промысловая рыба. 19. Химический элемент, газ. 20. Автономная советская республика. 21. Поэма в прозе М. Горького. 24. Рамка для патронов винтовки, пистолета. 25. Город в Азербайджане.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 48

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Водоем. 8. Неруда. 9. Анрио. 10. Стратег. 11. Медиана. 12. Внедрение. 13. Сопка. 15. Йемен. 17. Формула. 20. Сморчок. 24. Колос. 26. Ивенс. 27. Тильвитис. 28. Тюльпан. 29. Огарков. 30. «Идиот». 31. Кролик. 32. Аренга.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Светофор. 2. Ростова. 3. «Бродвей». 4. Ганновер. 6. Магнето. 7. Программирование. 8. Номинал. 14. Кимоно. 16. Егоров. 17. Фарс. 18. Абак. 19. Коклюшка. 21. Мельник. 22. Острота. 23. Онекотан. 25. Стапель. 26. Исламей.

КРОССВОРД

НИЧЕМ ПАРИЖ НЕ УДИВИШЬ











Все повидал Париж, но тут... Оглядывались, восхищались, удивлялись: «Солдат наполеоновской эпохи, да еще русский, под знаменем любимой Бонапартом 32-й полубригады?»

Вместе с немцами, англичанами и хозяевами - французами наша впервые созданная Федерация Военно-исторических клубов приняла участие в праздновании 200-летия Великой французской революции.

Увлечение историей, именуемое движением Реконструкции, началось еще в прошлом десятилетии, теперь дошло и до нас. И не смущает любителей, что шитье костюмов, изготовление экипировки требует значительных усилий и немалых затрат (средняя по сложности форма соотносима со стоимостью цветного телевизора). Военно-исторические клубы появляются повсюду. Сейчас у нас в стране «Ахтырские гусары», «Казачий круг», «Косой капонир», «Преображенский полк», «Драгунский полк», «Слава Отечества», «Россия молодая» — увлечения на любой вкус и возраст: от школьника до пенсионера — всяк найдет отраду. Да и для карьеры увлечение полезное: с годами растут звания, и, кто знает, до каких повезет дослужиться погон! Но и здесь традиции Отечества сильны — если во французском полку дослужились до капитана, то в русских уже полковники, и, говорят, генерал имеется... Что ни говори, приятно все-таки.

В начале июля, в годовщину Полтавской битвы, полк в форме солдат петровской армии маршем прошел по Москве, в Коломенском возложил цветы к домику Петра. И осенью, в начале сентября, мы могли видеть представителей различных клубов на Бородинском поле. Зима — время для новых планов, для подготовки к будущим походам и сборам по местам былых великих и малых битв. К официальным праздникам международного календаря битв под Аустерлицем, Ватерлоо и Лейпцигом наша федерация предлагает отмечать и битву под Бородино.

Это благородное увлечение потомков, девиз которых — «Дороги прошлых войн — к миру!».

Иван НОВИКОВ
Фото автора

40 коп.
Индекс 70663

ОГОНЁК